ВЕС СЛОВА



Nemo solus stat

Посвящается моей маме Ирине

С Днём Рождения, дорогая мама!

Nemo solus stat.

Пролог

В лето от Воплощения Господа нашего Иисуса Христа тысяча четыреста восьмое, месяца ноября, при правлении преосвященного владыки Ги де Руа, архиепископа Реймсского, и при престоле Божиею милостию отца во Христе и пастыря церкви святого первомученика Стефана, Шарля де Пуатье, графа-епископа Шалонского, коего имя и здравие да хранит Вседержитель во благих, случилось сие разбирательство в палате церковного трибунала земли Шампанской.

Предстали пред судилищем присяжные старшины цеха суконщиков города Шалона-на-Марне вкупе с городскими эшевенами, подав прошение и донос за подписями, в коем главным обвинителем выступал мэтр Тибо, муж именитый и присяжный. В бумаге же той утверждалось, что в старом каменном амбаре близ южных врат града, напротив крепостного рва, без соизволения градского совета собираются бродяги, беглые подмастерья и увечные ратники; и просили податели испытать сию обитель на предмет нечестивой ереси свободного духа и бегардства, противных Святой Церкви и закону Христову.

Надзирателем же приюта сего в приходских списках числился мирянин-терциарий именем брат Владислав, прозываемый в народе Шрамом — прежде возчик бумажной лавки, человек без цеховой приписки, герба и градских прав. Ибо он, собрав скудные сбережения свои и подаяния верных, выкупил заброшенную постройку за стеной и устроил в ней зимний ночлег с очагом для нищих и увечных, кого не принимали городские цеховые лечебницы.

По поручению же владыки епископа Шарля де Пуатье, да сохранит Господь имя его, и трибунала провинции Реймсской на дознание прибыл инквизитор брат Максимин, прозываемый Чужеземцем, с писцом своим и нотарием Жаком, а с ними и сам обвинитель. Войдя в амбар, инквизитор повелел переписать всех обретавшихся внутри и учинить им испытание по порядку: и нашлись там до пятнадцати убогих, меж коими были безногий стрелок, две женщины с малым младенцем, ста-

рец-красильщик и подёнщик со сломанной рукой. Будучи опрошены порознь, все они твёрдо исповедали Символ веры, «Отче наш» и приходскую исповедь; на полке же у входа отыскалась лишь затёртая Псалтирь, расходная книга на зерно да связка сушёного тысячелистника.

Тогда брат Максимин обратился к мэтру Тибо и потребовал назвать двух мужей достойной веры, кои лично слышали бы от смотрителя или призреваемых им убогих слова против веры и таинств. Достойных же свидетелей у подателей жалобы не нашлось, и из собственных речей старшины открылось, что гнев цеховых вызван счётами мирскими — тем, что смотритель скупал дешёвое зерно мимо цеховых перекупщиков, давал кров беглым ученикам и открыто смеялся в лицо почтенным горожанам.

Посему в протокол нотария занесено было краткое решение: насмешка над цеховым старшиной не вписана Собором в перечень ересей, укрытие же калек и вдов от зимней стужи не составляет вины. За ложный же оговор в деле веры по каноническому праву присуждено обвинителю покаяние на паперти со свечой и денежная пеня в пользу бедных — в казну самой богадельни, эшевенам же послано строгое предупреждение о вызове в трибунал, ежели дерзнут впредь прикрывать торговые счёты именем Церкви. В тот же день дана была приюту за южными воротами охранная грамота от имени епископа с красным воском и медной печатью трибунала; и милостию Божиею до самого преставления смотрителя ни цеховые старшины, ни баронские приставы не коснулись того каменного амбара.

Глава I

Тёплая коробка

Поздним июльским вечером Максим Соколов сидел на тесной кухне съёмной однушки на окраине Ярославля и быстро стучал большими пальцами по экрану смартфона. На спинке стула висело потрёпанное чёрное хлопковое худи с выцветшими шнурками, а на краю стола рядом с пепельницей лежала пластиковая таблетница с ноотропами, начатый блистер «лирики» и пачка баклофена «для сна и фокуса».

Днём двадцатидевятилетний Максим работал программистом в местной аутсорс-конторе — восемь часов кряду клепал однотипные корпоративные сервисы, фабрики и обёртки строго по заученным паттернам ООП. По вечерам он собирал свой «коммерческий» инди-проект на движке Unity: покупал готовые шаблоны из магазина, нарезал «кор-луп» по ютубным методичкам про дофаминовые воронки и волнами гонял поверх кода рои нейроагентов — веря, что агенты сами соберут хит по правилам геймдизайна без цельного мира в голове и понимания, как устроен сам движок под капотом.

Час назад он вдоволь оттянулся в геймдев-чате над упрямым одиночкой, который пилил собственную игру «Тимаэрт» — на чистом C++, без готовых движков, фабрик и классов-обёрток, на плоских массивах в заранее размеченной памяти, уперевшись в один выношенный замысел живого тороидального мира со сквозной экономикой. Максим скинул туда мем и свысока бросил дежурную фразу про то, что «умные люди стоят на плечах гигантов», а ковырять фундамент вручную в двадцать первом веке — удел фриков.

Смутную пустоту внутри, которую не брали ни код, ни вечерний геймдев, Максим привычно затыкал модным набором «человека науки»: в закладках лежали переводы Юдковского про рациональность и прайс на криоконсервацию мозга, перед сном пятнадцать минут бубнил таймер светского буддизма без Бога в приложении для медитаций,

а на досуге он перемещался в комментарии и паблики. Там было легко чувствовать себя образованным среди зашоренных «верунов»: он привычно язвил про «воображаемого друга» и «опиум для народа», подтрунивал над таинствами и объяснял оппонентам, что Церковь столетиями жгла учёных, запрещала анатомию и держала мир во тьме.

На этой неделе он пересмотрел на ютубе часовой разбор про «миллион сожжённых ведьм» на популярном канале «Чайник Рассела» и второй вечер подряд кидал ссылку по веткам как беспроигрышный довод. Старых книг Максим, разумеется, в руки не брал — зачем лезть в латинские фолианты, если всё давно разложено по полочкам в ролике с хорошим звуком.

Максим дописал в ветке особенно удачную колкость про «подставленную щёку» и крещение младенцев, поставил в конце смеющийся смайлик, сунул телефон в карман чёрного худи, которое носил даже в июле ради вечерней прохлады, и вышел во двор — сбегать до круглосуточного магазина за сигаретами и минералкой. У тёмной арки между двумя панельными домами в голове у него резко зазвенело и потемнело, и Максим потерял равновесие.



* * *

В начале сентября в Москве тридцатиоднолетний Антон сидел в собственной чистой студии перед кольцевой лампой и листал переписку с рекламным менеджером.

У его канала «Чайник Рассела» перевалило за полмиллиона подписчиков. В кадре Антон говорил поставленным, чуть ироничным голосом человека, который разбирает древние мифы и защищает здравый смысл. За кадром он просматривал две присланные на согласование интеграции: курс по «нейрокопирайтингу с выходом на сто пятьдесят тысяч в месяц» и полусерый криптообменник с рефералкой на ставки.

Открывать ссылки Антон не стал — пробежал глазами смету, поторговался в переписке за пятнадцать тысяч сверху и закрыл сделку коротким «Ок, вставляю в начале ролика, жду предоплату». Сам он давно убедил себя, что реклама — просто топливо для продакшена, и все крупные каналы работают точно так же.

Потом открыл комментарии под прошлым видео. В самом верху какой-то въедливый читатель вежливо спрашивал, на какой именно церковный собор Антон ссылался, говоря о полном запрете вскрытий в четырнадцатом веке. Антон поморщился — сценарий того выпуска он собрал за два вечера по англоязычным нарезкам и паре статей, без единой ссылки на архив — и тихо скрыл ветку: переснимать готовый блок из-за одного зануды смысла не было, а зрителям в массе своей нужен был бодрый ритм, яркая обложка и лёгкое чувство правоты за ужином.

Он открыл чистый текстовый файл и быстро набросал первый абзац нового сценария под заголовком «5 мифов о Средневековье, в которые до сих пор верят» — про плоскую Землю, костры ведьм и «нелепые эпициклы». Курсор мигал в пустой строке. Антон закрыл уставшие от монитора глаза на секунду — в ушах коротко зазвенело, и кресло под ним ушло из-под спины в густую темноту.

* * *

В те же сентябрьские дни на другом конце города тридцатилетний Владислав Корнилов выходил из стеклянного бизнес-центра в длинном чёрном пальто и тяжёлых кожаных берцах, прижимая к уху смартфон.

Мягкий кашемир плотно обтягивал налитые за пару лет в зале стокилограммовые плечи — в модном фитнес-клубе Влад жал сто сорок от груди и гордился собой, как прирождённый зверь среди дряблых клерков.

— Дмитрий, давайте без эмоций, — ровно, с вежливой корпоративной скукой говорил Влад в трубку. — У вас в акте сверки две пломбы не бьются по времени, так? Пункт четыре точка семь подписан с обеих сторон. Закрывайте вопрос через наш юротдел, у меня тут не благотворительный фонд.

Он сбросил вызов, заблокировал номер мелкого перевозчика-ипэшника и сунул телефон в карман пальто. Сэкономленные на чужом рейсе деньги были пустяком, но Владу нравилось это ощущение холодной деловой хватки. Официально он числился руководителем направления развития в крупной сети автосервисов и регионального грузового автопарка, принадлежавшей его отцу. На деле всю возню с гаражами, запчастями и налоговой пятнадцать лет тащил старый папин заместитель Петрович, а Влад жил в подаренной отцом просторной квартире, ездил на свежем внедорожнике и приезжал к обеду ради важных звонков.

В свободное время он постоянно крутил быстрые проекты — перекупал с отсрочкой партии запчастей, прогонял мелкие субподряды через прокладки, вкладывался в сомнительные стартапы, цитировал в телеграме Ницше и «Атланта» и был убеждён, что всего добился бы в одиночку и без семейной фирмы. Ровно так же он относился и к собственной силе: вместо десяти лет неблагодарного труда и мозолей — пара циклов анаболиков, тестостерон и «фарма» от знакомого тренера, и вот уже широкая спина и быстрый результат. То, что за каждым его жёстким «разговором по делу» стояли отцовская фамилия, оборотка и штат юристов, а за налитой майкой в раздевалке — аптечная ампула, просто не приходило ему в голову.

На парковке моросил мелкий сентябрьский дождь. Влад шагнул с крыльца в серые сумерки к своей машине, споткнулся о неровную плитку — и оступился в густой, ледяной провал без единого огня и звука.

Глава II

Срок милости

Максим очнулся на булыжной мостовой и первым делом сунул руку в карман чёрного худи — проверить телефон. Телефона не было. Не было ни бетонного двора многоэтажки, ни жёлтых фонарей, ни ночного магазина за углом. Вместо них над головой нависали фахверковые карнизы, колокол где-то за крышами мерно отбивал полуденную службу, а мимо проехала телега с бочками вина.

Через пять минут, послушав перебранку двух торговок на углу, Максим обнаружил, что понимает каждое слово — чужая, гулкая романская речь сама раскладывалась в голове на чистый смысл. А ещё через минуту он увидел дату на свежем пергаментном объявлении у каменной арки: год от Рождества Христова 1386-й. Сначала перехватило горло от растерянности, а потом следом подступил азарт человека, который попал на знакомое поле.

Средневековье. Самые настоящие Тёмные века.

Только на этой неделе он пересматривал на «Чайнике Рассела» часовой ролик про миллион сожжённых ведьм и запрет анатомии и два вечера подряд размахивал этими фактами в сетевых спорах, так что к местной реальности считал себя подготовленным на сто процентов. Он знал про плоскую Землю, про костры на каждом перекрёстке и про то, что любой человек, произнёсший слово «логика», немедленно отправляется в подвал с раскалёнными клещами.

Долго ждать подтверждения не пришлось. У ступеней серого каменного здания толпился народ, а в центре стоял высокий худой монах в белой рясе и чёрном плаще с капюшоном. Рядом с ним переминались двое клерков с деревянными дощечками и чернильницами на поясе. Перед монахом горячо размахивала руками рыжеволосая женщина средних лет в зелёном переднике, а чуть поодаль хмуро сопел здоровенный мужик в кожаном жилете с медной бляхой на груди.

Рыжая. И доминиканец.

Всё сошлось в одну секунду. В голове у Максима прокрутились знакомые ролики и споры из чатов, и он, толком не успев испугаться, рванул сквозь толпу.

— Оставьте её в покое! — выкрикнул он, вставая между женщиной и монахом. — Хватит! Рыжие волосы — это просто мутация гена MC1R, а не печать дьявола! И вообще, Земля круглая!

Площадь притихла. Мужик с бляхой перестал сопеть. Рыжеволосая женщина отступила на шаг и подозрительно покосилась на странную чёрную рубаху Максима с капюшоном и завязками.

— Это ещё кто, брат Гильом? — спросил мужик с бляхой. — Твой, что ли?

Доминиканец медленно моргнул. У него было сухое, усталое лицо человека, который третью неделю спит по четыре часа, и пальцы правой руки, въедливо перепачканные чёрными орешковыми чернилами.

— Первый раз вижу, — ровным голосом ответил брат Гильом и перевёл взгляд на Максима. — Добрый человек, во-первых, отойди от вдовы Марты, ты ей на корзину с ромашкой наступил. Во-вторых, её никто не трогает — это она сама пришла жаловаться, что господин бальи хотел оштрафовать её за прокисшее молоко у пекаря.

— У него три крынки скисли за ночь, и ровно после того, как она мимо прошла! — буркнул мужик с бляхой.

— Господин бальи, на дворе июль, — перебил монах. — В жару молоко киснет от тепла, а не от дурного глаза. Если ты ещё раз притащишь ко мне соседскую склоку под видом колдовства, я напишу епископу, что городской суд занимается бабьими сплетнями вместо того, чтобы ловить конокрадов. Иди, Марта, продавай свои травы, только корни мандрагоры под видом приворотного зелья больше не суши — я знаю, что ты это делаешь, и на второй раз одним постом не отделаешься.

Вдова фыркнула, подхватила корзину и бодро зашагала прочь. Толпа разошлась. Максим остался стоять посреди булыжника с раскрытым ртом.

— Подождите, — пробормотал он. — Вы… инквизитор?

— Помощник трибунала, брат Гильом, — кивнул доминиканец. — А ты, судя по одежде и речи, либо беглый шут, либо перегрелся на солнце. Зайдём внутрь, нечего на площади горлопанить.

Максим покорно шагнул за чёрным плащом в каменную арку, ожидая подземелий, факелов, дыбы и безумного смеха фанатиков.

Внутри оказался не подвал, а светлая побеленная комната с тремя длинными дубовыми столами. На стенах вместо цепей стояли полки с толстыми переплётами в телячьей коже, в углу — латунная армиллярная сфера, хитрое переплетение колец с шариком в центре. А вдоль стены на узкой скамье сидели пятеро скучающих горожан — какой-то сапожник, две старушки и румяный подмастерье, вертевший в руках шапку.

— Где камера пыток? — ляпнул Максим, оглядываясь.

Писарь за ближайшим столом даже перо уронил. Брат Гильом тяжело вздохнул, уселся на жёсткий стул и жестом указал Максиму на табурет напротив.

— У нас сегодня двенадцатый день срока милости, — сказал он тоном канцелярского работника, которому в сотый раз за утро объясняют, в какое окно сдавать справки. — Двенадцать дней назад мы вывесили эдикт на паперти собора, отмерив целый месяц милости. Любой, кто по глупости ходил к гадалке, таскал на шее языческий амулет или болтал спьяну ересь в кабаке, может прийти сам, признать ошибку, получить пять псалмов или три дня поста и уйти домой с чистой совестью. Без суда, без штрафов, без записей в чёрную книгу. А ты врываешься на крыльцо и кричишь про форму Земли. У тебя в голове каша или ты просто пьян?

Максим покосился на латунную сферу в углу.

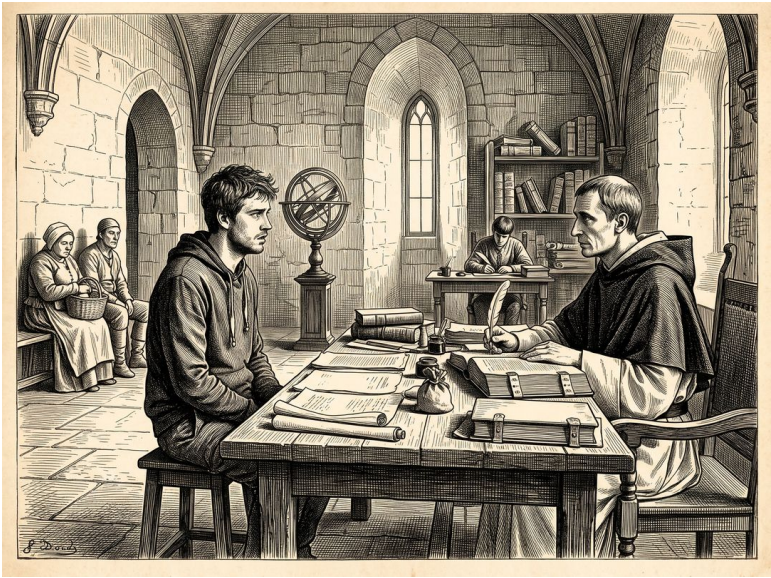
— Но… это же шар! Вы храните запрещённую модель?

Гильом посмотрел на сферу, потом снова на Максима, и в его усталых глазах впервые мелькнуло искреннее недоумение.

— Какую ещё запрещённую? Это учебная сфера по трактату Иоанна де Сакробоско. Её проходят четырнадцатилетние школяры на первом курсе факультета искусств. Ты всерьёз думал, что люди, которые читают Аристотеля и Птолемея и ходят на кораблях через море, считают Землю плоским блином?

— Ну… в учебниках… — промямлил Максим, лихорадочно перебирая в голове заученные в сети заготовки. — А Колумб? Он же доказал…

— Кто?



— Не важно! — Максим сжал кулаки. — Хорошо, допустим, про Землю вы знаете! Но ведьм вы всё равно жжёте миллионами! Уничтожаете прогресс, травите людей за инакомыслие!

Гильом не повысил голоса. Он лениво протянул руку, вытащил с полки тяжёлый том с металлическими застёжками, раскрыл его по закладке и развернул к Максиму.

— Латынь читаешь? Судя по лицу — нет. Тогда слушай на слух. Канон Епископи, часть церковного права из Декрета Грациана, которому уже четыре сотни лет. «Некоторые нечестивые женщины, совращённые иллюзиями демонов, верят и утверждают, будто в ночные часы скачут верхом на зверях с языческой богиней Дианой». Знаешь, что предписывает канон? Считать саму веру в то, что человек способен летать по небу или творить колдовство помимо воли Божьей, языческим суеверием и ложью. Мы здесь, вообще-то, с мракобесием боремся, а не плодим его.

— Погоди… — Максим заморгал. — То есть вы не сжигаете ведьм?

— За последние десять лет наш трибунал не отправил на костёр ни одной так называемой ведьмы, — сухо ответил Гильом. — Светские судьи в деревнях — да, те иногда теряют голову, когда у них падёж скота

и толпа требует виноватого. Приходится посылать туда наших ревизоров, требовать протоколы, проверять свидетелей на личную вражду и объяснять дуракам, что нельзя вешать старуху только за то, что она поссорилась с соседом из-за межи. У нас, видишь ли, регламент: показания врагов обвиняемого не принимаются, анонимный донос без двух независимых свидетелей идёт в печь, а за первое заблуждение, если человек не упорствует, вообще нет состава преступления.

В этот момент за распахнутым окном послышался топот, звон железа и отчаянный вопль. Двое стражников в городских ливреях тащили по улице оборванного паренька со связанными руками. Поравнявшись с окном канцелярии, паренёк изо всех сил упёрся пятками в булыжник и заорал в проём:

— Эй, святые отцы! Я вчера на крест плюнул! И сказал, что причастие — просто хлеб! Слышите?! Я страшный еретик! Заберите меня в вашу тюрьму!

— Заткнись, шельма! — рыкнул старший стражник, отвешивая ему подзатыльник. — Кошелёк у суконщика срезал, а теперь в еретики лезет!

Брат Гильом даже не повернул головы к окну — только поморщился и махнул писарю:

— Запиши на полях, Николя: опять жулики из королевского острога пытаются перевестись к нам по богохульству.

— Что это сейчас было? — шёпотом спросил Максим.

— Обычная история, — пожал плечами монах. — В королевской тюрьме за украденный кошелёк его повесят к пятнице, а до пятницы не дадут ни крошки хлеба. В нашем арестном доме кормёжка дважды в день, солома свежая, протокол ведётся строго по закону, а проливать кровь клирикам запрещено каноном. Вот городское ворьё и орёт под окнами всякую гадость, чтобы вырваться из рук светского судьи. Хитрые бестии.

Максим помолчал. Потом всё-таки полез в память за главным доводом из комментариев.

— Ага! — встрепенулся он, тыча пальцем в сторону полок с протоколами. — Вот ты и попался! Вы же лицемеры! У вас в Евангелии написано «подставь другую щёку» и «не судите»! А вы тут суды развели, сроки какие-то, наказания за рецидив! Где ваше всепрощение?

Брат Гильом глянул на Максима поверх стола.

— Ты Евангелие-то сам открывал или тоже от кого-то пересказываешь? — спокойно спросил он. — «Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается — прости ему». Сначала — назвать зло злом и поставить границу. Потом — простить, если человек развернулся и перестал творить дурное. А «вторая щека» — это запрет на личную кровавую месть из уязвлённой гордыни, а не обязанность отдавать город на растерзание упорствующим обманщикам. Прощение без границ — это не милосердие, юноша, это глупость. И заметь: мы сначала объявляем месяц милости, вывешиваем правила на видном месте, даём каждому шанс одуматься без всякого вреда для себя, и только того, кто после примирения сознательно возвращается к старому и врёт под присягой, передаём светскому закону. По-твоему, это неразумно?

Максим сглотнул, но упрямо поднял подбородок — оставались ещё главные аргументы, проверенные на десятках веток.

— Зато у нас, в нашем веке, люди ушли далеко вперёд от вашей слепой темноты! — резко бросил он. — Мы стоим на плечах гигантов, нам не нужно ваше утешение для слабых! Вся ваша религия — это просто опиум, чтобы усыплять людей да прикрывать самую обычную гордыню: назови себя «сыном Царя», избранным Божьим — и вот ты уже выше всей толпы, прямо как дворовый мажор, который хвалится богатством отца!

Брат Гильом не повысил голоса — только устало покачал головой, словно в сотый раз разбирал всё ту же ошибку школяра.

— Про карликов на плечах гигантов, милый друг, говорил наш соседский учитель Бернар из Шартра — здесь, в двух днях пути отсюда, ещё при наших прадедах, — сухо заметил он. — Только Бернар говорил это не затем, чтобы ты хвастался чужой славой, даже не открывая книг. Или ты и твои просвещённые спорщики читали хотя бы «Начала» Евклида — от первых определений и постулатов до самых сложных теорем? Небось в глаза не видели, хоть наукой на каждом углу козыряете. А ведь как передают со слов древних, ещё сам Евклид, когда царь Птолемей спросил его, как выучить науку покороче, ответил прямо: «В математику нет царских путей». Даже государь не перепрыгнет через доказательства, не пройдя их своими ногами. А человек, который ни «Начал» Евклида, ни Сакробоско не открывал и только швыряется об-

рывками чужих фраз, — не на плечах гиганта стоит. Он просто болтает ногами в чужом возу, не зная, что в нём лежит. И с твоим «опиумом» то же самое: маковым соком в больницах снимают ломоту, когда человеку режут ногу — а вы превратили чужую боль и чужую мудрость в дешёвую дразнилку.

Он опустил перо на стол и посмотрел на Максима пристальнее.

— Что же до «детей Царя» — тут ты перевернул телегу впереди лошади. Всякий слушавший хотя бы азы богословия по Августину знает: враг человеческий не умеет творить ничего из ничего. У зла нет собственной глины — дьявол просто берёт Божью благодать и переиначивает её наоборот, как фальшивомонетчик портит настоящее серебро. Носить образ Божий, сознавать своё царское сыновство и достоинство перед миром — в этом нет ни капли греха, это чистая благодать и дар. И дар этот открыт каждому: и вдове Марте на площади, и нищему на паперти, и тебе. Сын не становится выше брата от того, что гордится Отцом.

Монах коротко постучал ногтем по деревянной дощечке.

— А грех гордыни начинается вовсе не с этого. Грех начинается ровно в ту секунду, когда ты вытаскиваешь линейку и начинаешь сравнение: «Слава Тебе, Боже, что я не таков, как этот мытарь, как эти тёмные верующие, как бабка с ромашкой». Вот это переиначивание благодати в сравнение «я умнее, а они глупее» и есть настоящий яд. И глядя на то, с каким восторгом ты пять минут назад срывал покровы с «тупых инквизиторов», подумай сам — кто из нас двоих сегодня пришёл сюда тешить свою гордыню.

Максим открыл было рот, чтобы ввернуть что-то про Юдковского, байесианство, когнитивные искажения и прогресс, но понял, что в этой тихой комнате со скрипящими перьями любые его заготовки прозвучат как лепет школьника, не выучившего урок.

— Я… я вообще атеист, — глухо выдавил он, опуская плечи. — Материалист. Я не верю ни в вашего Бога, ни в дьявола. Делайте со мной что хотите.

Он даже ждал, что хотя бы теперь его схватят и бросят в каземат — так всё стало бы проще и понятнее.

Брат Гильом потёр виски и устало прищурился.

— Погоди. Ты вообще крещёный?

— Ну… бабушка в детстве вроде крестила, — растерянно сказал Максим. — Но я же говорю, я сам не верю!

— Некрещёные вообще вне нашей юрисдикции, мне бы с тобой даже говорить не полагалось, — пробурчал монах, макая перо в чернильницу. — Но раз крещён и сам зашёл в дверь в срок милости… Николя, оформляй протокол, только побыстрее, у нас очередь на лавке уже засыпает.

Скрипнуло гусиное перо.

— Имя?

— Максим.

— Записывай: некий Максим, в странной чёрной тунике без пуговиц, явился добровольно в двенадцатый день *tempus gratiae*. На городской площади публично распространял невежественные суеверия о плоской Земле и летающих ведьмах, мешал работе городского суда, в диспуте проявил полную безграмотность в логике и каноническом праве, ссылаясь на неведомого «Колумба». Признаков упорства в формальной ереси не обнаружено — скорее, обычное верхоглядство.

— И что мне теперь будет? — тихо спросил Максим, глядя на бегущие по бумаге строчки.

— Поставишь крест вот здесь, если писать не умеешь, — сказал брат Гильом, присыпая чернила мелким песком. — В качестве епитимьи: три пятницы без мяса, пять покаянных псалмов и — это уже от меня лично, не для протокола — зайди на Соборную улицу к переписчикам и полистай хотя бы оглавление «Сферы» Сакробоско. Стыдно взрослому мужчине с таким апломбом нести подобную чушь. Свободен. Следующий!

Двое писарей не подняли на него глаз. Максим вышел обратно на площадь с восковой квитанцией в кулаке. Колокол на соборе давно умолк, вдова Марта складывала в тень корзины с ромашкой. Он сунул квитанцию в карман худи и пошёл к Соборной улице — искать переписчика и этого самого Сакробоско.

Глава III

Чернильные орешки и прилог

Лавка переписчика мэтра Гуго помещалась в низком каменном проулке за собором. На доске у входа сушились две только что выделанные телячьи шкуры, а внутри, под узким окном без стёкол, двое учеников скоблили пергамент пемзой и разлиновывали поля тупым шилом по линейке.

Сам мэтр Гуго — сухой, лысый старик с жёлтым от старости ногтем на большом пальце — принял восковую квитанцию Максима двумя пальцами, повертел её к свету и ничего не сказал. Послушав, что чужеземцу нужны стол, работа и книга Иоанна де Сакробоско, он поднял со стола толстую тетрадь в тёмной обложке, глянул на пустые, белые руки гостя — мягкие, клавиатурные — и ткнул пальцем на широкий дубовый чан у очага.

— «Сферу» дам смотреть по вечерам, если оставишь в лавке задаток или отработаешь, — ровно сказал Гуго. — Пока ни латинского письма, ни гусиного пера не знаешь, в писцы тебя не возьму. Можешь таскать тюки на чердак, толочь орешки и варить мне чернила. За это — тарелка бобовой похлёбки утром, краюха вечером и угол на мешках под крышей. Берёшься?

Денег у Максима не было, ночевать было негде. Он кивнул.

На другой день к обеду Максим уже стоял во дворе за лавкой у каменной ступки и яростно дробил тяжёлым пестом сухие дубовые шарики — орешки с листовых наростов. Работа была пыльная и тупая. Рядом, на приступке у кадки с дождевой водой, сидел мэтр Гуго и крошил ножом мутно-зелёные, стеклянистые кристаллы.

— Зелёный купорос, — буркнул старик, заметив взгляд Максима. — И две унции светлой камеди из мешка, чтобы след не расплывался по бумаге. На одну мерку добрых толчёных орешков кладём полторы купороса. А ты всё пылишь, дурень — бей не сверху, а проворачивай пест

у стенки. Крупно оставишь — в котле не выварится; в муку сотрёшь — через ткань не процедишь, весь настой мутный пойдёт.

Максим вытер со лба серую от дубовой пыли полосу и не удержался — всё-таки в школе и институте химию он сдавал на четвёрки.

— Мэтр Гуго, вы в точности описываете галловую реакцию без всякого понимания механизма, — сказал он, ставя пест. — Из дубовых орешков в воде выходит дубильная кислота, она соединяется с солью двухвалентного железа — вашим зелёным купоросом — и сперва даёт почти бесцветный раствор. А потом на воздухе кислород окисляет железо до трёхвалентного, и соль выпадает чёрным нерастворимым осадком прямо внутри волокон. А камедь — просто коллоидный связующий полимер, чтобы пигмент держался во взвеси!

Старый переписчик остановил нож. Минуту он внимательно смотрел на Максима — не сердито, а так же деловито, как смотрел утром на кусок телячьей шкуры.

— Слова мудрёные, — признал Гуго. — Видать, в заморских школах вас славно учат говорить про железо и воздух. Раз ты видишь самую суть вещи, то вот тебе мера орешков, вот купорос, вот жбан дождевой воды, а вот медный таган. Свари мне на завтра три горшка добрых чернил, а я пока пойду к пергаментщику на торг.

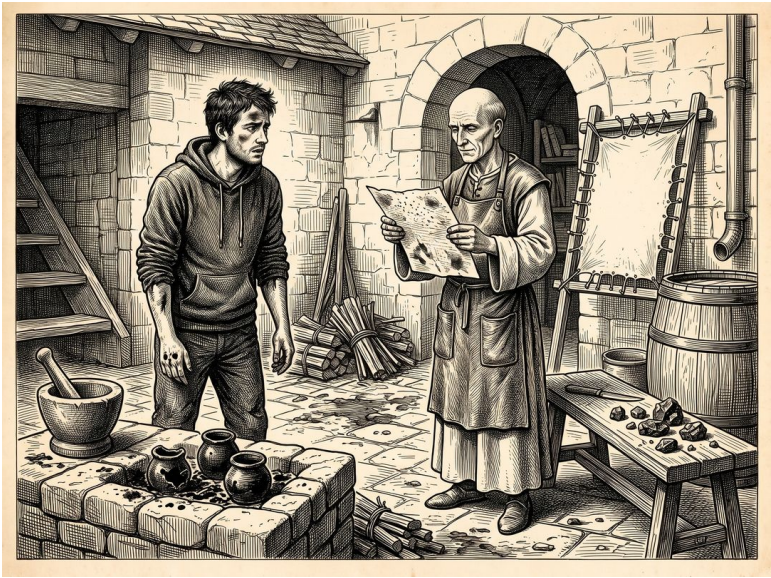
— Сварю, — уверенно сказал Максим. — Там делов-то на час.

Вечером, когда старик вернулся, дело шло плохо.

Первый горшок Максим вскипятил слишком сильно, стараясь ускорить «экстракцию» — густой, дёгтеобразный отвар прикипел ко дну чёрной коркой. Во второй он насыпал купороса на глаз раньше, чем процедил мякоть орешков; железо сходу схватилось с крупной взвесью в бурые хлопья и осело мёртвой грязью на дно. Третий с виду вышел ничего — бледно-серым, но когда Максим макнул в него очиненное перо и черкнул по обрезку тряпичной бумаги, строчка расползлась лохматыми перьями, а наутро в одном месте бумага под пробой стала проеденной и рыжей, потому что отстоявший купорос дал лишнюю кислоту.

Мэтр Гуго взял палочку, попробовал холодный отвар мизинцем, глянул на размытый лист и вылил все три горшка в канаву за воротами.

— Орешки у тебя были сырые, прошлогоднего сбора — в них один сок да слизь, — без злости сказал старик, вытирая руки о передник. — А ты их кипятил ключом, как репу, вместо того чтобы томить три дня



в тёплой воде и процеживать через двойное полотно до светлого чая. И купорос взял из нижнего слоя бочки — рыжий, выветренный, с лишней ржавчиной. Завтра будешь просто носить воду и подметать стружку. Когда научишься отличать свежий орешек на вкус и вес от прелого — тогда и расскажешь мне ещё про свой воздух и про железо.

Ночью на чердаке Максим лежал на жёстких мешках с обрезками тряпья. Пальцы под ногтями были чёрными от танина, запястья ломило от каменного песта. Знать правильные слова из таблицы Менделеева и сварить три горшка чернил оказалось двумя разными делами, и второе на словах не выезжало.

Через неделю, уже отмыв руки и перестав спорить с мастером, он получил обещанную награду: старую рукописную тетрадь в деревянных крышках — «Сферу» Сакробоско, сшитую в один переплёт с первыми книгами «Начал» Евклида.

И тут Максима ждал второй тупик. Устную французскую и латинскую речь в голове по-прежнему что-то раскладывало само, а вот написанные строчки остались просто частоколом чёрных палочек с крючками, петлями и дикими сокращениями над словами. Ни закладок, ни поиска по слову. Каждую букву приходилось выскребать глазами вместе с

младшим учеником, водя пальцем по краю строки, чтобы не потерять место.

Зато когда к концу месяца он начал уверенно разбирать сокращения и переписывать для себя чертежи треугольников и небесных кругов, случилось то, чего не бывало ни в институте, ни на курсах в сети. Чтобы доказать третью теорему, нельзя было прокрутить страницу вверх или спросить подсказку в соседнем окне: приходилось держать всю цепочку из определений, постулатов и прежних построений у себя в голове, как цельный дом от фундамента до стропил. Если одно звено выпадало, дом рушился.

* * *

В середине сентября мэтр Гуго отправил Максима с двумя корзинами свежей тряпичной бумаги и кувшином уже сносно сваренных чернил на соседний монастырский двор к доминиканцам — сдавать заказ скрипторию.

Стоял ясный, сухой день. В дальнем углу вымощенного плитами двора мерно ухал топор: широкий в плечах, коренастый конверз лет сорока в подпоясанном грубом подряснике без лишних движений колол толстые берёзовые чурбаки. От левого глаза к скуле у него тянулся старый белый рубец.

Максим сгрузил корзины у двери кладовой, чуть прихрамывая на перевязанное левое колено, и присел на каменную скамью в тени арки. Рядом на том же камне сидел невысокий седой монах в выцветшей рясе — аккуратно раскладывал по полотняным мешочкам сушёный тысячелистник.

— Из лавки мэтра Гуго? — спросил старик, не отрывая рук от травы. — Жди, брат Обер сейчас вернётся с погреба. Меня зовут брат Симон. А то — брат Лоран. Третий год у нас при дворе на дровах и на конюшне.

Максим покосился на коренастого дровосека.

— Бывший солдат? Вид у него, скажем прямо, крепкий.

— Из гасконских рот, — спокойно кивнул Симон. — Попал к нам из лазарета три зимы назад. Поначалу спать без ножа под соломой не мог, от громкого слова за рукоять хватался, ругался на чём свет стоит и пил

до рвоты. А теперь вот — третий год молчит да дрова колет. Плод долгого покаяния.

Максим, уже не с тем прежним задором, как в июле на площади, но всё ещё по старой привычке, усмехнулся:

— Вы это серьёзно так называете — «покаяние»? Я не хочу обидеть вас за гостеприимство, отец Симон, но у нас в науке давно известно, что никакой отдельной души в вашем смысле нет. Характер, злость, привычки — всё это просто работа головного мозга. Крошечные электрические разряды и химия: дофамин, кортизол, привычные нейронные связи. Как человека с детства набили реакциями, так он и ходит по колее, как сложный прибор. Молитвами и чувством вины провода в голове не перепаяешь.

Брат Симон остановил руки над мешочком и посмотрел на Максима внимательно.

— Любопытно, — сказал он. — Сначала один вопрос для ясности, раз уж ты человек учёный. Ты утверждаешь, что всякая человеческая мысль — это просто слепой выплеск соков и искр в твоём приборе?

— Ну, в конечном счёте да.

— Тогда и твоя собственная речь прямо сейчас — вовсе не рассуждение об истине, а просто случайное брожение соков у тебя в черепе, — ровно ответил старик. — И мои слова — такое же брожение. Если у тебя внутри нет свободного ума, способного отличить правду от ошибки помимо толчка плоти, то с чего вообще считать твоё утверждение про приборы верным, а моё — неверным?

Максим запнулся. В чатах этот ход обычно обходили шуткой или меняли тему.

— Ладно, разум сложился ради выживания… — отмахнулся он. — Но тело-то решает! Разбей человеку череп, лиши его сна или накачай зельем — и ваш характер исчезнет за пять минут! Вы в монастыре просто закрываете глаза на устройство плоти.

Старый монах коротко, без обиды рассмеялся.

— Да кто на него закрывает глаза, парень? У нас в скриптории за спиной лежит святой Иоанн Дамаскин — его переписывают уже шесть сотен лет, и там прямо по древним лекарям разобрано, в какой полости головы живёт воображение, в какой — суждение, а в какой — память. Кто прожил в обители хоть год, лучше любого лекаря знает, как плоть

вертит умом. Не доспал — язык злее, мысли путаются; объелся жирного мяса — кровь густеет и тянет в лень или злобу; перебрал вина — тормоз сорвало. Поэтому весь наш устав — про часы сна, про пост, про тишину и тяжёлый топор в руках. Мы не воображаем человека бесплотным духом.

Максим помолчал.

— И всё равно, — упрямо сказал он, кивая на Лорана. — Если у него двадцать лет войны прожгли колею в голове, то как ваше «покаяние» — сидеть в углу, плакать над собой и каяться — может эту колею перебить?

— Да с чего ты взял, что покаяние — это плакать над собой? — пожал плечами Симон. — Сидеть, упиваться своей ничтожностью и жалеть себя — это не покаяние, а уныние и лишняя суета. Само слово *метанойя* значит перемена ума — разворот всей повозки на другую дорогу. Слушай, как у нас описывают рождение любого дела и привычки — ещё тысячу лет назад расписали по ступеням точнее всяких твоих названий соков.

Монах поднял палец в чернильных и травяных пятнах.

— Первая ступень — *прилог*. Мимо внимания пролетает искра: резкое слово, чужая обида, воспоминание, весёлый шум из кабака. Этого ты не выбираешь — старая плоть и память сами кидают спичку. Тут ни греха, ни твоей воли нет; просто птица пролетела над головой. Вторая — *сочетание*: ты не прошёл мимо, а повернул взгляд и начал крутить эту мысль в голове, разговаривать с ней, смаковать. Вот здесь ты и подкармливаешь старую колею. Дальше — *сложение*, когда ты уже согласился внутри: «ладно, сделаю, врежу, совру». За ним — *пленение*: колея стала такой глубокой, что колесо само падает в неё раньше, чем успеешь опомниться. И в конце — *страсть*, когда чужая привычка срослась с плотью и человек клянётся: «я таким родился».

Максим помолчал.

— И как с этим справляться? — тихо спросил он.

— Двумя концами сразу, — ответил Симон. — Если просто запрещать солдату: «не бей никого, сгоришь в аду», он озвереет ещё хуже, потому что страх сам греет кровь. Сначала — не спорить с искрой на ступени прилога, пока она тонкая, как паутина, а сразу отвести внимание на простое дело и ровное дыхание. А снизу, через тело — ровный час сна,

простая пища, тяжесть топора и маленькие обратные поступки: хочется рявкнуть — промолчи и подай кружку воды. Когда по старой колее в глине месяцами не ходит телега, она зарастает травой сама собой.

Лоран у поленницы как раз с треском расколол последний толстый суковатый кряж, вытер пот рукавом и спокойно, без суеты привалил колун к стене.

— Подождите… — не удержался Максим. — Вы же сейчас описали перестройку привычек и угасание реакции…

Он открыл рот — и в ту же секунду язык сам подкинул острую, едкую реплику: мол, ну конечно, это обычная когнитивная перешивка без всякого Бога, просто завёрнутая в церковные слова для дисциплины. Ещё полсекунды — и фраза сорвалась бы сама собой.

Брат Симон чуть наклонил голову, взглянув ему прямо в глаза.

— Вот он, — негромко сказал монах. — Прямо сейчас. Поймал?

Максим застыл с полуоткрытым ртом.

— Челюсть сжалась, плечи подались вперёд, в глазах блеснула искра — как бы сейчас половчее уколоть старика и остаться сверху, — так же спокойно продолжил Симон. — Это и есть прилог, парень. Ты его сейчас не сочинял — его подбросила твоя старая колея. А ну попробуй не выпускать это слово, не спорить с ним про себя и просто подержать молча, пока сердце не ударит десять раз. Посмотрим, кто в тебе хозяин — ты или твои «соки».

Во дворе было тихо. Слышно было только, как шуршит сухая трава под руками монаха да скрипят ворота погреба — шёл ключник забирать бумагу. Максим закрыл рот. Желание съязвить нелепо толкнулось о молчание — и сникло, точно он вдруг увидел со стороны собственные вечера в Ярославле: блистер «лирики» у пепельницы, таймер светского буддизма на пятнадцать минут и чужие ветки комментариев до трёх часов ночи.

Никто никого в тот день не обратил в веру и ни о чём высоком не клялись. Максим молча отдал корзины ключнику, получил свои два су серебром за разноску бумаги, поклонился старику и пошёл обратно к мэтру Гуго — перетирать новую порцию дубовых орешков. Но вечером, раскрыв на чердаке тетрадь Сакробоско, он впервые за много месяцев не полез искать за углом быструю колкость.



Глава IV

Улица Соломы

Антон очнулся от того, что ему в бок неприятно кололась жёсткая сырая солома. Он приподнялся, тряхнув головой, и замер: вместо мягкого дивана и экрана ноутбука вокруг тянулся длинный, холодный каменный зал со сводчатым потолком. Десятка три молодых людей в грубых шерстяных плащах сидели прямо на связках соломы на полу — кто с восковыми табличками на коленях, кто с переносными чернильницами на поясе. У высокой деревянной кафедры в конце зала стоял худощавый человек лет сорока в чёрной рясе доминиканца и чистым, звонким голосом вёл занятие.

За узкими стрельчатыми окнами моросил серый сентябрьский парижский дождь.

Антон ощупал на себе серую флисовую толстовку, понял, что смартфон пропал, и прислушался к звучащей речи. Латынь каким-то чудом сама разворачивалась в голове в ясные русские фразы.

— …посему, отвечая на второе возражение, должно различать причину, действующую во времени, и причину, удерживающую вещь в бытии прямо сейчас, — ровно говорил человек за кафедрой. — Первопричина, о которой учит естественный разум, есть не первый толчок в глубокой древности, а чистое действие, не нуждающееся в ином источнике…

Антон не удержался от тихого смешка. Ему, автору популярного канала «Чайник Рассела» и человеку, который три года подряд разбирал «пять нелепых доказательств Фомы Аквинского» перед полумиллионной аудиторией, выпал буквально королевский подарок. Средневековый университет. Самый настоящий схоластический диспут. Уж эту-то картонную башню из словесной эквилибристики он сейчас разнесёт за три минуты — теми самыми аргументами, от которых в комментариях всегда замолкали все защитники религии.

Он поднялся с соломы, отряхнул джинсы и громко, на весь зал произнёс:

— Простите, магистр, можно возражение?

Шёпот и скрип стилусов по воску оборвались. Тридцать пар глаз уставились на толстовку Антона и его кроссовки. Но никто не схватился за колья и не закричал «еретик!». Наоборот, в задних рядах несколько студентов переглянулись: на улице Соломы свежий спорщик был лучшим развлечением в дождливый вторник.

Доминиканец спокойно положил ладони на край кафедры.

— Сегодня день открытого диспута, чужеземец, — ровным голосом сказал он. — Я магистр Роберт. Если твоё возражение построено по правилам разума, а не на крике, я тебя слушаю. Излагай тезис.

Антон шагнул вперёд.

— Ваш знаменитый аргумент от Первопричины рассыпается от одного детского вопроса, — чётко, с хорошо поставленной дикторской интонацией начал он. — Вы говорите: «У всего на свете есть причина, значит, должна быть самая первая причина — Бог». Прекрасно. Тогда ответьте честно: а кто создал Бога? Если у всего должна быть причина, то она должна быть и у Него. А если вы вдруг делаете для Него удобное исключение и говорите, что Он существует сам по себе — тогда по бритве Оккама проще сделать ровно то же исключение для самой Вселенной и вообще выкинуть лишнюю сущность!

По залу пробежал сдержанный, странный смешок — но смеялись не над магистром, а над Антоном. Какой-то прыщавый школяр в первом ряду даже тихо фыркнул и что-то шепнул соседу.

Магистр Роберт поднял руку, призывая зал к тишине, и посмотрел на Антона с усталым сожалением.

— Друг мой, — мягко сказал он. — Если бы какой-нибудь четырнадцатилетний новичок на первом курсе факультета искусств приписал мне посылку «у всего на свете есть причина», я бы выгнал его доучивать грамматику. Ни один схоласт в здравом уме никогда этого не утверждал. Если бы «у всего» была причина, мы бы в самом деле получили противоречие в определении. Мы говорим совсем другое: причину имеет всякая вещь, которая изменяется, составна или получает своё существование извне — то есть могла бы и не существовать. Вопрос «кто

создал несозданную Первопричину» звучит точно так же умно, как вопрос «на ком женат холостяк».

Антон на секунду сбился, но тут же пошёл в контратаку:

— Ладно, пусть не «у всего»! Но почему бесконечная цепь причин не может просто уходить в прошлое без начала? Одна звезда взорвалась, из пыли родилась другая, и так бесконечно назад во времени!

— А вот здесь ты ломишься в открытую дверь, — невозмутимо ответил Роберт. — Наш же брат Фома прямо пишет, что чистым разумом вообще нельзя доказать, имела ли Вселенная начало во времени. Цепь событий в прошлом — дед родил отца, отец родил сына — вполне могла бы тянуться в бесконечность, потому что сын продолжает жить, даже когда дед давно умер. Это так называемая цепь *per accidens*. Но наше доказательство вообще не про прошлое и не про первый толчок.

Магистр замолчал на мгновение, окинув взглядом полутёмный зал, и поднял руку, указывая на одну из свечей на кафедре.

— Представь себе абсолютно тёмную комнату, юноша. И представь ряд полированных зеркал, выставленных друг против друга — не десять, не тысячу, а бесконечное множество. Первое зеркало передаёт луч второму, второе — третьему, третье — четвёртому, и так вглубь без конца. Скажи мне: будет ли в этих зеркалах свет, если в комнате нет ни одной свечи?

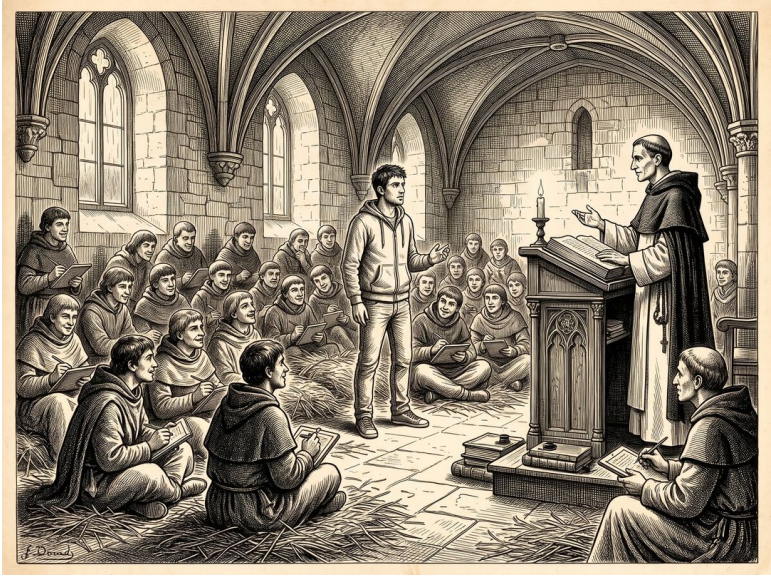
— Разумеется, нет, — пожал плечами Антон. — Откуда ему взяться? Зеркала сами не светят.

— Даже если их бесконечно много?

— Хоть миллион бесконечных рядов. Ноль, сложенный с нулём бесконечное число раз, всё равно даст ноль.

— Вот это и есть вертикальный ряд причин *per se*, — ровно подытожил Роберт. — Ни одно зеркало не обладает светом по собственной природе — оно лишь передаёт то, что получило извне. Умножая число передатчиков до бесконечности, ты не создаёшь источник, ты лишь бесконечно множишь посредников. Точно так же любая вещь в этом зале — камень, воздух, ты сам — не содержит в своей природе источника собственного существования прямо в эту секунду: всё это лишь зеркала, отражающие бытие, полученное от условий под ними. Первопричина — это не «первое событие во времени», а свеча, которая светит сама по себе, а не отражённым светом. А объявить саму Вселенную этой све-

чой ты не можешь: Вселенная составна, изменчива и сама зависит от своих законов. Значит, она — ещё одно зеркало, а не источник.



В зале притихли. У Антона взмокла спина под толстовкой: живого схоласта он слышал впервые, до сих пор он спорил только с чужими пересказами. Но у него оставался главный щит современности.

— Стоп, — жёстко сказал он, поднимая ладонь. — Всё это красивая игра словами, чистая умозрительная метафизика. В моём мире мы давно поняли, что логическими жонглированиями реальность не познать. Есть только один надёжный критерий истины — эмпирический метод. Наблюдение, измерение, повторяемый эксперимент. Истинным знанием можно считать только то, что проверяемо опытом и приборами! Вы можете положить вашу «Первопричину» на весы или увидеть в трубу? Нет? Значит, ваши слова — пустой звук.

Магистр Роберт широко, без злобы улыбнулся.

— Блестяще, — тихо сказал он. — Наконец-то чёткий тезис. Запишите его, господа школяры: «Истинным знанием можно считать только то, что проверяемо чувственным опытом и измерением». А теперь, чужеземец, будь добр: предъяви мне тот опыт и то измерение, которыми ты доказал саму эту фразу.

Антон запнулся.

— Что?

— Я повторяю вопрос, — с предельной вежливостью произнёс Роберт. — Ты только что провозгласил правило. На какие весы ты положил это правило? В какую подзорную трубу ты увидел, что вне чувственного опыта нет истины? Чем ты измерил само это утверждение?

— Это… это не факт опыта, это методологический принцип! — выпалил Антон. — Это определение научного познания!

— То есть само твоё главное правило не проверяемо опытом, — спокойно зафиксировал магистр. — Стало быть, по твоему же собственному критерию, твоё правило либо не является истинным знанием, либо попросту бессмысленно. В логике это называется самоопровергающимся утверждением. Ты перегрыз собственный фундамент в тот самый миг, как открыл рот.

Студенты на соломе уже не прятали ухмылок — несколько человек одобрительно постучали костяшками пальцев по деревянным дощечкам, отмечая чистый логический укол.

— Более того, — не сбавляя темпа, продолжил Роберт, сходя с кафедры на шаг ближе, — ты воображаешь, будто опираешься на «голый опыт» без всякой метафизики. Но прежде чем ты вообще дотронешься до любых весов или приборов, тебе придётся принять на веру без всякого эксперимента целую гору чисто философских истин. Закон непротиворечия — что одна и та же вещь не может одновременно быть и не быть. То, что внешний мир реально существует, а не снится тебе. То, что законы природы завтра останутся теми же, что вчера. То, что твоя память не подменяет вчерашний опыт. То, что математика вообще применима к материи. Ни одну из этих вещей невозможно доказать опытом — потому что всякий опыт уже опирается на них. Ты вовсе не свободен от метафизики, юноша. У тебя просто скверная, неряшливая метафизика, которая сама не знает своих аксиом.

Антон стиснул зубы. Отступать было некуда — оставался последний козырь из свежих лекций про космологию.

— Вы рассуждаете о мире, в котором действуют примитивные законы механики! — с вызовом бросил он. — А в современной физике ваш принцип причинности вообще не абсолютен! На глубочайшем уровне частицы рождаются спонтанно, из ничего — из пустоты! Вся Вселенная

могла возникнуть из ничего, просто в силу колебаний вакуума! Никакой ваш «крюк» ей не нужен!

Магистр Роберт остановился и с острым интересом наклонил голову набок.

— Погоди-ка. Вот это уже любопытно. Ты говоришь, твоя «пустота» сама по себе колеблется и рождает частицы?

— Да! Квантовые флуктуации вакуума!

— И у этой пустоты есть свойства? Например, способность колебаться?

— Конечно! — обрадовался Антон. — Поля, минимальная энергия, строгие математические законы вероятности…

Магистр Роберт тихо, искренне расхохотался.

— Послушайте его, господа! — обратился он к студентам. — В его «ничего» кипят какие-то поля, бурлит некая сила и царят строгие математические законы — и он с серьёзным лицом называет этот полный котёл словом «ничего»! В наших стенах, юноша, слово *nihil* означает ровно одно: отсутствие вообще всего — ни полей, ни законов, ни силы, ни даже самой возможности колебаться. Ты взял вполне себе существующее нечто, переклеил на него табличку «ничего» и гордо объявил, что опроверг причинность. А мои два вопроса никуда не делись: откуда взялись сами эти твои «строгие законы» и какая опора удерживает их в действии прямо сейчас?

Антон стоял посреди каменного зала. Весь его запас остроумных роликов, цитат и победных тредов выгорел дотла за десять минут. В голове ещё мелькнула мысль ввернуть что-нибудь про летающий чайник на орбите или невидимого дракона в гараже, но он сразу понял, как жалко прозвучит этот трюк перед человеком, который отличает *per accidens* от *per se* и за секунду вскрывает скрытые аксиомы.

— Значит… — глухо проговорил он, опуская взгляд на жёлтую солому под кроссовками, — по-вашему, я просто догматик, только с другой стороны?

— Хуже, — мягко, без торжества поправил его Роберт, возвращаясь к кафедре. — Догматик хотя бы честно знает, в какие первые начала он верит, и готов защищать их в открытом споре. А ты пришёл сюда с твёрдым убеждением, будто у тебя вообще нет веры — только «чистый разум», — и не заметил, что принёс с собой три недоказанных догмы,

два противоречия и перевранное чужое учение, которого сам никогда не читал.

Магистр раскрыл перед собой потёртый пергаментный кодекс и кивнул на свободный угол у стены.

— Но за смелость в диспуте — хвалю, нынче редко кто спорит так горячо. Садись обратно на солому, юноша, и не мёрзни. Сейчас мы переходим ко второй книге «Второй аналитики» Аристотеля — о том, с чего вообще начинается всякое доказательство и почему наука не может доказать собственные первоначала. Послушай внимательно. Похоже, в вашем просвещённом веке этот урок прогуляли целиком.

В зале снова зашуршала солома, заскрипели стилусы по воску. Антон медленно опустился на жёсткую связку у холодной каменной стены, поджал колени и промолчал — не из вежливости, а потому что впервые за долгие годы ему действительно захотелось послушать.

* * *

Когда лекция по «Второй аналитике» закончилась, студенты с шумом посыпались с охапок соломы, хлопая друг друга по плечам, собирая восковые таблички и на ходу продолжая спорить на беглой латыни. Антон вышел следом за магистром Робертом в узкий, мокрый от дождя переулок улицы Соломы — и на пороге врос в булыжник.

У противоположной стены, под навесом книжной лавки, стоял брат Гильом, а рядом с ним переминались двое клерков с кожаными сумками.

— Магистр… — сдавленным шёпотом выдавил Антон, прячась за плечо Роберта. — Это же… инквизитор?!

— Брат Гильом, помощник трибунала, — спокойно кивнул Роберт, не сбавляя шага. — Приехал из соседней епархии по бумагам. Хороший канонист, хоть и зануда.

— Бежим обратно! — зашипел Антон, пятясь за спину Роберта. — Я же только что при тридцати свидетелях отрицал Бога! Если кто-нибудь из ваших студентов донесёт, меня к вечеру поджарят на Гревской площади!

Магистр Роберт остановился, обернулся к нему и расхохотался так громко, что двое проходивших мимо школяров остановились поглазеть.

— Да ты в своём уме, юноша? За что тебя хватать? За тезис на открытом диспуте?

— Ну я же… ересь нёс! Против Первопричины!

— Господи помилуй, да ты послушай себя! — отмахнулся Роберт. — Ты находишься в Парижском университете. У нас папские привилегии и хартия самого Григория IX: ни королевский прево, ни местный епископ не имеют права лезть в наши аудитории, пока мы не пролили чьей-то крови. Более того, у нас дважды в год проходят *кводлибеты* — диспуты «о чём угодно», где любой школяр или гость может поднять вообще любой вопрос, какой придёт в голову. Хоть «существует ли Бог», хоть «может ли Бог сотворить камень, который не поднимет», хоть «должен ли король платить десятину». Святой Фома, которого ты сегодня так смело громил, вообще начинает свой главный труд с фразы «Кажется, что Бога нет» и сам же подбирает против Него самые сильные возражения! Как, по-твоему, разум должен учиться отличать правду от лжи, если запретить высказывать сомнения?

В этот момент брат Гильом заметил их, отделился от писарей и неторопливо подошёл, кивнув Роберту.

— Мир тебе, магистр. Опять мучаешь молодёжь Аристотелем?

— Мир и тебе, брат Гильом, — улыбнулся Роберт. — Вот, познакомься: наш сегодняшний оппонент на диспуте. Смелый парень — пытался опровергнуть Первопричину через пустоту, полную законов.

Антон втянул голову в плечи, ожидая грозного допроса. Но усталый доминиканец только окинул взглядом его серую флисовую толстовку и кроссовки и тяжело вздохнул.

— Ещё один в рубахе без пуговиц… — устало пробормотал он. — Роберт, вы их там, на факультете искусств, из глины лепите, что ли? Этим летом ко мне в срок милости точно такой же чудак вломился, орал на площади про плоскую Землю и летающих ведьм.

— Нет, этот пообразованнее, — заступился магистр. — Про плоскую Землю не говорил, зато пытался доказать, что вне весов и линейки истины нет.

— О, старый добрый софизм, — зевнул Гильом. — Ну, успехов тебе с ним, Роберт. Извини, не могу остаться — у меня ещё двадцать протоколов по делу одного ростовщика, а к вечеру надо успеть к архидиакону. Бывай!

Инквизитор махнул рукой и спокойно зашагал вниз по мокрой улице, даже не спросив у Антона имени.

Антон стоял с открытым ртом, провожая взглядом чёрный плащ. Никаких доносов. Никаких факелов. Его даже на карандаш не взяли — просто списали на университетский диспут и пошли дальше по канцелярским делам.

— Ну что, отлегло? — весело спросил Роберт, хлопнув его по плечу. — Пойдём, чужеземец. От сухой логики в горле пересыхает, да и продрогты в своей тряпке. Зайдём в «Сосновую шишку», я угощаю.

Через пять минут они толкнули низкую, обитую железом дверь и шагнули в шум, дым и хохот переполненной таверны.

Таверна «Под сосновой шишкой» была набита битком. За длинными струганными столами вперемешку сидели студенты с кинжалами и длинными ножами на поясах, пара румяных бакалавров, какой-то дородный монах-бенедиктинец с кубком в руке и трое бродячих школяров-вагантов с лютней. В камине трещали поленья, на вертеле крутился жирный кусок свинины, а в углу шла азартная игра в кости.

Едва магистр Роберт появился в дверях, из дальнего угла ему дружно замахали оловянными кружками:

— Магистр! Сюда! Мы как раз спорим, является ли разбавленное вино трактирщика субстанцией или чистой акциденцией!

— Если в нём воды больше, чем вина, — крикнул в ответ Роберт, пробираясь к столу, — то это уже не акциденция, Пьер, а смертный грех хозяина! Тащи две кружки подогретого с корицей, и поживее!

Антон растерянно присел на грубую лавку. Перед ним бухнули тяжёлую оловянную кружку с горячим пряным вином. В углу забренчала лютня, и компания студентов, отбивая ритм кулаками по столу, грянула хором на звонкой, хулиганской латыни:

— *In taberna quando sumus, non curamus quid sit humus!* — Когда мы в таверне, нам плевать, что там с землёй! — запел рыжий школяр, вскакивая на скамью. — Пьют за папу, за корону, пьют без меры и закона!

Пьёт хозяйка, пьёт хозяин, пьёт солдат и пьёт клирик, пьёт сестра и пьёт братишка, пьёт аббат и пьёт старик!

Зал грохнул и подхватил припев. Антон крутил головой во все стороны: он ждал хмурых людей в рубищах, которые боятся улыбнуться, чтобы не прогневать Бога, а вокруг кипела такая шумная студенческая попойка, что его родной физфак на первом курсе показался бы похоронами.

— Вы… вы что, реально про папу поёте? — не веря своим ушам, спросил Антон у Роберта. — При всех?

— А что ему сделается? — пожал плечами магистр, отхлёбывая горячего вина. — В песне же не про догмат веры поётся, а про то, что все люди грешны и любят выпить. Не путай благочестие с ханжеством, юноша. Уныние вообще-то смертный грех, а весёлая шутка кровь разгоняет.

Не успел Антон переварить эту мысль, как сидевший напротив румяный бакалавр — тот самый, что днём прилежно конспектировал Аристотеля — наклонился через стол, подмигнул компании и заговорщицки понизил голос:

— А слыхали свежий фаблио из Руана? Про толстого аббата, мельника и его молодую жену?

— Валяй, Жан! — заорали со всех сторон.

И Жан, с самым серьёзным лицом схоласта, выводящего силлогизм, выдал такую забористую, солёную историю про то, как хитрый мельник поймал жадного аббата без штанов в ларе с мукой, выдал его за «белого ангела» и заставил заплатить тридцать ливров за чудесное спасение души, — причём с такими сочными телесными подробностями и каламбурами про «большой колокол» и «узкую звонницу», что Антон, выросший в интернете, поперхнулся вином.

Стол взорвался гоготом. Дородный бенедиктинец за соседней лавкой хохотал так, что у него затряслось брюхо, а строгий, сухой магистр Роберт — тот самый человек, который час назад безжалостно препарировал метафизику и теорию познания, — смеялся до слёз, вытирая глаза краем чёрного рукава.

— Вот бестия, Жан! — выдохнул Роберт, стукнув кружкой о стол. — Про «настройку звонницы» — это прямо в яблочко! Налейте ему за мой счёт!

Когда шум чуть улёгся, захмелевший Антон всё же попытался отыграться хоть в чём-то и походя поддел бакалавров за астрономию Птолемея — мол, нагородили на небе нелепых эпициклов, круг на круге, вместо нормальных орбит. Жан только махнул рукой — оставь, мол, звёзды до трезвой головы, — а Роберт усмехнулся и велел допивать, пока вино не остыло.

— Что притих, чужеземец? — добродушно толкнул Антона локтем магистр, когда они уже сидели над вторыми кружками. — Вино кислое или шутка не по нраву?

— Да нет, магистр, — тихо сказал Антон, делая большой глоток. — Вино отличное. Просто пытаюсь понять, кто из нас двоих на самом деле жил в Тёмных веках.

* * *

За две недели Антон сменил протёртую флисовую толстовку на дешёвый суконный кафтан, привык к жёсткой соломе и перестал вздрагивать при виде доминиканцев, но одну странность своего учителя никак не мог взять в толк.

Магистр Роберт, который днём на кафедре голыми руками разбирал любые софизмы и смеялся над деревенскими баснями о ведьмах, после вечерни наотрез отказывался ходить короткой дорогой через старое северное крыло коллежа. Крюк через сырой двор занимал лишние десять минут, но всякий раз, стоило сумеркам сгуститься, Роберт сворачивал в грязь, мелко крестился у глухой арки и прибавлял шагу.

В один из серых октябрьских вечеров, когда они возвращались из книжной лавки под мелкой моросью, Антон не выдержал:

— Магистр, да что там за этим углом? Крыша сыплется? Или норманнские школяры караулят?

Роберт поморщился и зябко запахнул плащ.

— Никаких норманнцев, юноша. Там прошлой зимой преставился старый магистр Этьен — без последнего напутствия, за спорной книгой и с долгами перед букинистом. С тех пор по ночам в верхней галерее бродит дух. Стонет в стенах, бренчит железом, свечи гасит.

Антон остановился посреди лужи.

— Подождите… Вы сейчас серьёзно? Про привидение?

— А что тебя удивляет? — сухо, с неожиданным раздражением отозвался Роберт. — Ум человеческий — не кусок мяса, сознание от плоти отделимо. Если душа ушла в смятении, не развязав земных узлов, отделённый субъект сам по себе сохраняет память и привязанность к месту, где трудился. Вон у нас и пикардийцы слышали, и я сам в прошлый четверг шёл за тетрадью — как завыло из-под свода, ровно нечеловеческим голосом, так у меня фонарь в руке и потух.

Антон недоверчиво хмыкнул. В голове не укладывалось, как в одном человеке уживаются «Вторая аналитика» Аристотеля и страх перед покойником в коридоре — будто магистр путал живую личность во плоти с бестелесным субъектом, застрявшим в штукатурке.

— Сквозняк там и крысы, магистр, — сказал Антон. — Ну не бывает призраков. Хотите, я сегодня же ночью пройду это ваше крыло от лестницы до библиотеки с сальной свечой и покажу, откуда дует?

— Не искушай судьбу своим упрямством, — буркнул Роберт. — Пойдёшь один — сам и убедишься.

Упрямство взяло верх. Около полуночи, когда коллеж затих, Антон взял у привратника жестяной фонарь с кривой слюдяной дверцей и пошёл в северное крыло — хоть раз в четырнадцатом веке проверить что-нибудь старым добрым опытом, без споров на соломе.

Длинная каменная галерея была пуста и промёрзла насквозь. Пол под башмаками поскрипывал сырой пылью, узкие стрельчатые окна выходили на тёмные крыши. Антон прошёл до середины, посветил по углам — никого. Уже повернул было назад, с довольной усмешкой придумывая, как завтра утром подденет магистра.

И в ту же секунду прямо из глухой каменной стены в трёх шагах от него поднялся низкий, утробный, вибрирующий вой.

Звук шёл словно из самого камня — тягучий, чужой, без вдоха и выдоха. Потом над головой тонко и мерзко заскребло железо по кирпичу, а сверху, из чёрной темноты, прямо в лицо Антону ударил резкий ледяной порыв воздуха. Сальная свеча в фонаре мгновенно потухла. В полной темноте что-то тяжёлое, сырое шлёпнулось на каменный пол у самых его ног, и стена снова протяжно, жалобно застонала.

Вся научная картина мира вылетела из головы Антона за полсекунды. Не разбирая ступенек, он шарахнулся назад, сбил локоть о косяк,

скатился по винтовой лестнице во двор и только у двери своего дортуара сообразил, что до сих пор сжимает в кулаке погасший фонарь.

Наутро, бледный и невыспавшийся, он поймал Роберта перед лекцией и, глядя в пол, честно доложил всё как было: и вой из глухой стены, и скрежет, и погасший фонарь.

Роберт не стал смеяться. Выслушал мрачно, кивнул с тяжёлым удовлетворением и сказал:

— Вот видишь, чужеземец. Не всё в мире ложится на твои весы. Отделённый ум — вещь упрямая, с ним шутить не след.

С этого утра они оба обходили северное крыло по самой дальней кромке двора.

А вечером в «Сосновой шишке» началось странное. Едва Антон вошёл в зал, за дальним столом, где сидела шумная компания школяров из пикардийской и норманнской наций, двое парней толкнули друг друга локтями и прыснули в кулаки. На другой день один из них, проходя мимо Антона на улице Соломы, завёл глаза и тихонько, тоненько завыл, как ветер в печной трубе. Через два вечера в таверне на него уже откровенно косились и тыкали пальцами, стоило ему заказать кружку.

Месяц назад в Москве Антон полез бы напролом — потребовал бы объяснений, начал бы давить сарказмом и доказывать правоту. Здесь он сдержался. Первый вечер просто пропустил смешки мимо ушей. На второй — кивнул заводилам, как ни в чём не бывало. А в пятницу, когда за столом пикардийцев уже допивали третий кувшин, Антон взял у хозяина два полных жбана доброго неразбавленного бургундского, присел к ним на край лавки и поставил вино на середину стола.

— За здоровье пикардийской нации, господа, — сказал он спокойно. — Только без воды, я сам смотрел, из какой бочки хозяин цедил.

Школяры переглянулись, но от дармового бургундского никто не отказывался. Через полчаса, когда раскрасневшийся долговязый студент по имени Рауль уже распевал песенку про толстого прево, а его сосед — рыжий и кривоносый Рено — благодушно хлопал Антона по плечу, Антон подлил обоим ещё по полкружки и небрежно спросил:

— Слушайте, мужики, вы чего мне всю неделю вслед воете? Неужто сами туда ночью лазили? Там же и впрямь из голой стены голос идёт, я своими ушами слышал.

Рыжий Рено поперхнулся вином, согнулся пополам и грохнул таким хохотом, что чуть не свалился со скамьи.

— Так это ты туда с фонарём припёрся?! — выдохнул он, вытирая слёзы. — А мы-то думали, старый хрыч Роберт наконец решился с кропилом прийти! Ой, держите меня!

— Да какого чёрта? — нахмурился Антон, стараясь не улыбаться раньше времени. — Откуда звук-то шёл? Там же стена сплошная!

— Сплошная она только снизу, дурень заморский, — весело пояснил Рауль, понижая голос. — Там тридцать лет назад, когда галерею перестраивали, старый камин заложили кирпичом, а дымоход в толще стены оставили — он прямо под половицы чердака выходит, где у нас башмаки старые свалены. А у самого пола в штукатурке щель в два пальца за шкафом.

— Роберт нам на прошлой сессии полнации на «Аналитике» завалил, — подхватил Рено, давясь смехом. — Сухарь проклятый, придирается к каждому слову, а сам, вся улица знает, покойников боится до икоты! Вот мы с мая и ходим по очереди на чердак. Берёшь выскобленный бычий рог, суёшь раструбом в старую трубу и тянешь потихоньку — по кирпичу такой вой идёт, что у самого волосы шевелятся. Потом медной плошкой по железной скобе чиркнешь, пустишь вниз по трубе мехом для углей — свеча внизу и гаснет, — а на закуску кинешь в щель мокрую тряпку. Он полгода кругами по лужам бегает!

Антон секунду смотрел на их довольные, красные от вина рожи — потом опустил лоб на стол и сам расхохотался до боли в животе. Весь его ночной ужас, сбитый локоть и важный утренний доклад про «неведомое» стоили одного бычьего рога и рваной тряпки.

На следующее утро, дождавшись, когда зал опустеет, Антон всё-таки рассказал Роберту про замурованный дымоход, чердак и пикардийцев.

Магистр слушал молча. Сначала брови его медленно поползли вверх, потом скулы порозовели. Он долго молчал, глядя на свои сапоги, запачканные вчерашней грязью со двора.

— Мерзавцы, — наконец сквозь зубы выговорил он. — Бычий рог в дымоход… Я им на рождественском диспуте такой «бычий рог» устрою, что до Пасхи «Аналитику» наизусть учить будут.

Он сердито хлопнул ладонью по кафедре, помолчал секунду — и упрямо, глядя чуть в сторону, добавил:

— Впрочем, чужеземец, не торопись торжествовать. То, что в данном конкретном коридоре хулиганили два ленивых пикардийца, нисколько не отменяет того факта, что отделённый дух способен являться в местах своей скорби. Ошибка в частном случае не опровергает общего положения.

— Конечно, магистр, — совершенно серьёзно кивнул Антон, пряча улыбку в ворот кафтана. — Только сегодня после вечерни мы всё-таки пойдём прямо через галерею.

А через три дня на дворе коллежа один из младших школяров рассадил ладонь о битый горшок и собрался было промыть рану мутной дождевой водой из бочки, пока прибежавший цирюльник деловито вытирал свой нож о засаленный передник. Антон не выдержал: отнял у них тряпку, заставил вскипятить чистую воду на кухне, вымыть руки с зольным мылом и долго, с жаром объяснял Роберту и Жану про невидимую заразу в грязи и про то, что любую рану и лезвие надо обливать крепким перегнанным винным спиртом — *aqua vitae*.

Роберт выслушал внимательно, покивал — мол, чистота дело благое, и врачи в Салерно тоже велят мыть руки перед едой, — но про «невидимых тварей в чистой на вид воде» только недоверчиво пожал плечами. А Жан вообще расхохотался и заявил, что лить дорогую *aqua vitae* на царапину вместо того, чтобы принять её внутрь, — сущее кощунство и перевод Божьего дара. К вечеру на дворе снова мыли руки в той же бочке, а Антона ещё пару дней добродушно дразнили «кипячёным лекарем».

* * *

В один дождливый октябрьский вечер после диспута магистр Роберт, румяный бакалавр Жан и ещё пятеро студентов усадили Антона у камина с кувшином подогретого сидра — расспросить наконец, как устроена жизнь в его хвалёном «просвещённом веке».

Антон поначалу даже оживился. В логике его здесь разбили, в коридоре разыграли бычьим рогом, но уж быт-то, свободу и устройство общества он точно сможет защитить.

— Главное, — начал он, грея ладони у огня, — у нас нет вашего феодализма. Никакого крепостного права, никаких сеньоров. Каждый человек юридически свободен, работает где хочет и получает деньги.

— Славное дело, — одобрительно кивнул Жан. — И какую же часть дохода забирает ваш король? Десятину? Или, может, в военный год дерёт пятую часть?

Антон чуть замялся, прикидывая в уме.

— Ну… напрямую с зарплаты берут от тринадцати до сорока процентов, смотря в какой стране. Плюс работодатель отдельно отдаёт за тебя ещё около тридцати в разные фонды. Плюс когда ты идёшь в лавку покупать хлеб или сапоги, в цену уже зашита ещё пятая часть налога. Ну и акцизы, налог на землю… В сумме, если честно считать, государству уходит примерно половина того, что ты заработал.

Жан опустил кружку на стол.

— Половина?! — переспросил он. — Да у нас если бы король Карл заикнулся про половину дохода, Париж бы к утру перегородил улицы цепями и выкинул его сборщиков в Сену! Церковь берёт десятину, сеньор — оброк, но чтобы отдавать половину и при этом гордиться, что ты не крепостной… А жильё у вас, небось, дешёвое, раз все свободные?

— Не совсем, — вздохнул Антон. — Чтобы купить небольшую каменную комнату в башне этажей на двадцать, обычный человек берёт в банке ипотеку — заём на тридцать лет. И за эти тридцать лет выплачивает ростовщику две, а то и три цены этой комнаты. Если перестанешь платить — комнату заберут.

Магистр Роберт медленно потёр подбородок.

— Позволь уточнить, юноша. У нас крестьянин привязан к земле, но имеет на ней свой надел, который у него нельзя отнять, и отдаёт часть урожая. А у вас человек тридцать лет привязан к долгу за тесную клетушку, отдаёт половину труда королю, а остаток — ростовщику, который вообще ничего не производит. И вы называете это победой над тёмным феодализмом? Ладно, оставим ваших ростовщиков. Скажи лучше, как у вас с войнами? У нас-то век беспокойный: король созвал войско и флот к Слюйсу, англичане грозят высадкой, бароны спорят за межи. Вы с вашим разумом давно покончили с войной?

Антон облегчённо выдохнул.

— Больших войн между великими державами у нас не было уже восемьдесят лет! — сказал он. — И всё благодаря науке. Мы изобрели ядерное оружие и баллистические ракеты. Одна такая ракета перелетает через океан за полчаса и за одно мгновение превращает в пепел целый город вроде вашего Парижа.

Студенты замерли. Кто-то перекрестился.

— Сразу весь город? — тихо переспросил один из них. — И женщин, и младенцев, и соборы?

— Всё. И у главных держав таких ракет — тысячи. Достаточно, чтобы сжечь вообще всю землю и отравить воздух на десятилетия вперёд.

— Господи помилуй, — выдохнул Жан. — Вы, наверное, в ужасе утопили это проклятое оружие на дне моря?

— Наоборот! — Антон усмехнулся их простодушию. — В этом и есть стратегия ядерного сдерживания. Державы держат эти ракеты нацеленными на города друг друга, с пальцем на кнопке. Каждый знает: если ударит первым, противник успеет ответить, и погибнут оба. Поэтому никто не решается начать. Вот это и держит мир!

Никто не смеялся. Студенты хмуро переглянулись.

Магистр Роберт поставил кружку с сидром на каменный пол.

— Погоди, я проверю по счёту. Вы выстроили порядок, при котором человек отдаёт половину труда королю и тридцать лет выкупает каменную клетку. А чтобы никто не нарушил этого покоя, вы заперли нескольких правителей в одном пороховом погребе, раздали каждому по горящему факелу, приставили нож к горлу каждого младенца на земле и объявили: «Теперь-то мы в полной безопасности, потому что никто не захочет сгореть вместе со всеми».

— Это работает уже восемьдесят лет, — глухо возразил Антон.

— Восемьдесят лет — миг, — ответил Роберт. — Чтобы твоя «безопасность» держалась, все ваши правители и все счётные машины должны оставаться трезвыми и безошибочными каждый день, вечно. А чтобы всё сгорело дотла — хватит одного безумца или одной ошибки. У нас, когда два короля теряют рассудок, они выводят рыцарей в поле и рубят друг друга железом. Вы же сделали заложником чужой дури весь род человеческий.

Жан подбросил в камин два сухих полена, помолчал и долил Антону сидра:

— Ты, главное, не возвращайся туда, чужеземец. У нас и грязь на улицах, и зимы холодные, и зубы лечат клещами — но хотя бы крыша над головой не нацелена сжечь мир до завтрака.

Антон сидел молча.

— Зато у нас есть интернет и нейросети! — ухватился он за последнее чудо своего времени. — Представьте себе невидимую паутину, которая мгновенно связывает все книги, все библиотеки и всех людей на земле! Города перестали перекрикиваться в открытом небе — мы убрали все вести в тончайшие стеклянные нити под землёй и под океанами, чтобы не распылять силу зря и за миг передавать слово с одного края света на другой. А поверх этой сети мы создали искусственный разум — гигантские счётные машины и рои агентов, которые умеют писать тексты, рисовать картины, сочинять стихи и отвечать на любые вопросы за секунду!

Студенты оживились.

— Вот это уже звучит как настоящее чудо, — с искренним уважением сказал Жан. — Значит, люди вашего века, имея под рукой все книги мира, стали мудрецами, вроде Аристотеля?

— Нет… — честно сдулся Антон. — Чаще всего просто листают короткие ролики, ругаются с незнакомцами и спорят о том, чего сами не читали. А сейчас вообще все в ужасе от этих нейросетей — боятся, что машины скоро заменят людей и оставят всех без работы.

Магистр Роберт поднял взгляд от огня.

— Погоди-ка, — перебил он. — Ты сказал «счётные машины». Как именно работает эта твоя «нейросеть»? Она действительно понимает то, что пишет? У неё есть воля, намерение, разумная душа?

— Да нет, конечно! — объяснил Антон. — Никакой души и сознания там нет. Это огромная математическая формула на кремниевых пластинах. Ей скормили миллионы чужих текстов, она посчитала вероятности, какое слово чаще всего идёт за каким, и теперь просто механически складывает числа и выдаёт самый правдоподобный ответ. Строго говоря, это очень сложный, детерминированный инструмент — вроде гигантского абака или водяной мельницы.

Роберт помолчал, глядя на Антона поверх огня.

— Позволь мне сложить твои же собственные посылки, юноша, — негромко сказал он. — Посылка первая: эта машина не имеет ни ра-

зума, ни воли, ни понимания — это всего лишь огромный, слепой инструмент, как мельница, которая сама не знает, зачем крутит жернова. Посылка вторая: этот инструмент сам не может никого выгнать с работы, никому не платит и ничего не желает. Тогда объясни мне, ради всего святого: чего именно боятся ваши люди?

Антон осёкся на полуслове.

— Ну… что хозяева контор уволят живых людей и поставят вместо них машины…

— Вот! — щёлкнул пальцами Роберт. — Значит, ваши люди боятся не машины. Они боятся тех самых хозяев контор, в чьих руках оказалась мельница — и того, что за спиной у вашего «свободного» работника не осталось ни общины, ни цеха, чтобы его защитить. Но есть тут вещь ещё важнее, юноша. Помнишь, в первый день на диспуте мы говорили про ряд зеркал и первую свечу? Всякая настоящая книга, собор, чертёж моста или строчка закона рождаются не из пустого шума. В каждом живом человеке живёт целый внутренний мир — память, воля, личность и собственный замысел, который через труд ложится на пергамент или камень лишь как малая проекция этого мира, отблеск того первого, не отражённого света.

— А твоя машина не имеет внутри ни мира, ни замысла, ни субъекта, — сухо подытожил магистр. — Строго говоря, это просто слепой генератор проекций: она снимает мёртвые слепки с миллионов чужих проекций и складывает новую тень без вещи за спиной. И если живой человек всерьёз боится, что его труд целиком заменит слепой абак, переставляющий чужие тени по вероятности, — то чем же, скажи на милость, вы заставили заниматься людей в вашем просвещённом веке, если в их словах и делах уже не осталось ни собственного замысла, ни света за стеклом?

Жан почесал затылок, а Антон опустил глаза. Ему вспомнился собственный канал, однотипные ролики, собранные по алгоритму ради просмотров, сомнительная реклама, которую он вклеивал не глядя ради предоплаты, и сотни знакомых, которые целыми днями перекладывали шаблонные фразы из одной таблицы в другую.

— Похоже, магистр, — тихо сказал Антон, — мы действительно изобрели гигантский генератор теней. Только сначала мы зачем-то сами на-

учились думать как абак без замысла — а потом испугались, что настоящий считает быстрее.

* * *

На следующий вечер дождь наконец стих. Антон сидел во дворе коллежа на перевёрнутом бочонке рядом с магистром Робертом и Жаном.

— Про ваши налоги, войны и счётные машины мы всё поняли, — сказал Роберт, раздувая на угольке тонкую лучину, чтобы зажечь сальную свечу в фонаре. — Но ты так и не рассказал о главном. Что именно вы открыли о природе вещей? Вы же не только в стеклянные нити кричали — вы, должно быть, дошли до самых первых начал мироздания?

Антон усмехнулся.

— Дошли, магистр. Сначала мы открыли теорию относительности: выяснилось, что скорость света в пустоте — абсолютный предел для любого движения и любого сигнала. Быстрее ничего передаваться не может. А само тяготение — вовсе не таинственная сила на расстоянии, а искривление самого пространства и времени вокруг массивных тел.

Роберт прикрыл дверцу фонаря и коротко кивнул.

— Красиво. Конечный предел скорости действия — это очень по-аристотелевски: природа не терпит мгновенного бега сквозь бесконечность. И свести тяготение к геометрии — чистая, благородная мысль. А что на самом малом уровне, в глубине материи?

— А вот там начинается квантовая механика, — сказал Антон. — Микрообъект до измерения описывают не точкой на траектории, а суперпозицией — сложением всех возможных состояний сразу. Стоит поставить прибор и измерить — всё схлопывается в один результат, причём предсказать можно только вероятность. У нас даже есть знаменитый мысленный опыт про кота в закрытом ящике, который до открытия крышки формально оказывается в смеси «жив» и «мёртв». В научпопе из этого вообще делают вывод, что на дне реальности ломается сама логика и всё зависит от наблюдателя.

Жан моргнул, а магистр Роберт поморщился.

— Погоди, юноша, убери своего кота в ящике и скажи по-человечески: как именно вы там считаете? Какая математика стоит за этими предсказаниями?

Антон замялся — формализм со времён физфака он помнил уже не до последнего знака, но общую схему знал.

— Состояние задают волновой функцией. Её раскладывают в сумму простых колебаний — гармоник, как звучание струны, только в абстрактном пространстве. А квадрат этой волны даёт вероятность, где именно сработает прибор.

Роберт с Жаном хмыкнули.

— И где же тут слом логики, позволь спросить? — удивился магистр. — Ты только что описал строгую расчётную модель для малых масштабов, построенную на разложении по гармоникам — точно так же, как Боэций раскладывает созвучия струны, а наши астрономы раскладывают сложный бег планет на сумму простых кругов. Вы не видите саму вещь напрямую, вы видите только щелчок в приборе, и потому описываете своё неполное знание волновой суммой вероятностей. Никакой кот не сидит полуживым — вы просто перепутали способ записи расчёта с самой вещью в природе и сами же испугались собственных формул.

Антон помолчал, перекатывая в пальцах сухой прутик.

— Тут спорить трудно, — признал он. — Но дальше физики попытались пойти глубже и свести все частицы и силы в единую теорию — Стандартную модель.

— О, вот это достойно! — оживился Жан. — Наверное, три-четыре чистых первоначала, из которых, как из аксиом Евклида, выводится всё остальное?

Антон вздохнул.

— Как раз нет. Хотя столкновения частиц она предсказывает с чудовищной точностью — как ваши таблицы Птолемея точно дают затмения. Главной победой объявили объединение электричества со слабым взаимодействием — тем, что отвечает за распад ядер.

— Постой, — перебил Роберт. — Что именно вылетает из ядра при этом вашем «слабом» распаде?

— Электрон или позитрон. Заряженные частицы, — сказал Антон и осёкся, поймав взгляд магистра.

— Если внутри плотного ядра сидят те же электрические заряды, — медленно проговорил Роберт, — то не очевидно ли с самого начала, что их поведение в этой тесноте есть просто особая сторона того же элек-

тричества? Зачем объявлять «великим объединением» две стороны одной вещи?

— Там не сходился простой баланс энергии и вращения, — ответил Антон. — Чтобы спасти привычные законы, постулировали особую невидимую частицу — нейтрино. А дальше пошла цепочка подпорок: семнадцать фундаментальных частиц — кварки шести «ароматов» и трёх «цветов», лептоны, глюоны, бозоны, причём всё это почему-то повторяется в трёх почти одинаковых поколениях. Поверх натянули гладкие калибровочные поля Янга — Миллса, ковариантные производные, отдельное поле для массы… Чтобы формулы сходились с опытом, туда руками вбито около двадцати произвольных чисел, которые ниоткуда не выводятся. И тяготение туда всё равно не влезает.

Роберт прищурился.

— Погоди. Ты в первый вечер в таверне смеялся над нашими эпициклами — мол, нагромождение костылей. А сами вы соорудили схему с двадцатью ручными заплатками, которая даже не знает, почему падает камень? И при этом, если я тебя верно понял, в самом уравнении электрона уже сидят свои двойники?

Антон уставился на него с удивлением — доминиканец, не зная слов, ткнул прямо в то место, о котором на физфаке мельком упоминали на старших курсах и сразу проходили мимо.

— Вообще-то… да, — медленно сказал Антон. — У нас есть уравнение Дирака. Оно четырёхкомпонентное, биспинорное — в нём изначально заложены и дрожащее движение электрона, и нейтральные спинорные токи, и сама структура нейтрального электрослабого дублета. Многие вещи в принципе можно описывать прямо оттуда, без половины этого зоопарка и придуманных подпорок.

— Так почему же не описали? — спросил Жан.

— Потому что уравнения там жутко нелинейные, — развёл руками Антон. — Человеческой головой и пером на бумаге их не проконтролировать. А гладкие линейные калибровочные поля, ковариантная производная, теория возмущений — они, конечно, костыли, зато их человеческий разум ещё способен охватить, разложить в ряд и получить красивую цифру, которую примет журнал.

Магистр Роберт вдруг резко подался вперёд и ткнул пальцем в сторону тёмного зала, где они сидели накануне.

— Постой-ка, юноша! Ты же вчера сам полвечера хвастался вашими гигантскими кремниевыми абаками! Роями счётных агентов и нейросетей, которые за миг перемалывают горы чисел!

Антон моргнул.

— Ну да…

— Так какого же дьявола вы заставляете эти ваши слепые абаки сочинять похабные стишки, рисовать картинки и перекладывать бумажки в конторах, вместо того чтобы впрячь их в честные нелинейные уравнения?! — голос Роберта впервые стал резким. — Если человеческая голова не тянет прямой счёт — отдай счёт машине, на то она и мельница! Зачем строить целые соборы из приятных, гладких линейных костылей только потому, что их легче охватить разуму, если они ложны уже на уровне первых предпосылок? Истина всё равно дороже удобного костыля!

Антон открыл рот, но сказать было нечего. Чтобы проверять ту же Стандартную модель, люди действительно вырыли под землёй двадцатисемикилометровое кольцо Большого адронного коллайдера, больше десяти лет назад нашли там бозон Хиггса — и упёрлись в глухую тишину.

— И что же ваши мудрецы делают теперь? — уже спокойнее спросил Роберт, видя, что Антон замолчал. — Сели думать головой, где ошиблись в первых началах?

— Нет, — усмехнулся Антон. — Они просят построить кольцо на сто километров. Правда, теперь даже банки не хотят печатать столько пустых денег — слишком дорого. А самое смешное, магистр, что в реальной работе — когда надо рассчитать металл, лекарство, химию или прибор — этой великой Стандартной моделью почти никто и не пользуется. Все считают по узким прикладным моделям. Просто целые поколения учёных выучились крутить колёсики именно этой схемы.

Магистр Роберт поставил фонарь на землю и нахмурился.

— Не понимаю. Если у нас на факультете какой-нибудь магистр десятилетиями городит уродливую схему из заплаток, к нему просто перестают ходить слушатели, и коллеж снимает его с хлеба. Как же вы умудряетесь держать тысячи людей у одной заглохшей мельницы?

— На общих грантах, — коротко ответил Антон. — Там целый закрытый цех со своими судьями и журналами. Долгий разговор, магистр.

Фонарь у их ног почти догорел; над тёмными крышами высыпало резкое осеннее небо. Жан поднял голову и кивнул в сторону Млечного Пути:

— Раз у вас трубы заглядывают чуть не на край света, что же там наверху? Нашли других людей на далёких мирах?

Антон хмыкнул.

— Нет. Планет у чужих звёзд открыли тысячи, а небо молчит. И из этого у нас развели целую индустрию: «парадокс Ферми», шкалы цивилизаций Кардашёва — мол, развитые инопланетяне непременно должны обернуть свою звезду гигантской скорлупой, «сферой Дайсона», чтобы выжать из неё всю энергию до капли. А раз скорлуп не видно и в эфире тихо — значит, либо все вымерли, либо прячутся в «тёмном лесу» от космических хищников.

— Погоди, — удивился Роберт. — Ты же сам вчера рассказывал, что ваши города перестали кричать во все стороны и убрали вести в тонкие стеклянные нити, чтобы не тратить силу зря. Да и первый закон оптики — ещё Гроссетест с Вителo писали: сила всякого луча убывает пропорционально квадрату расстояния. Чтобы докричаться до соседней звезды сквозь небесный шум, надо день и ночь жечь силу целого царства наугад. Ваши астрономы что, этого не знают?

— Серьёзные астрономы прекрасно знают, — махнул рукой Антон. — И про квадрат расстояния, и про узкие лучи, и про то, что радиоэпоха коротка. На деле вопрос яйца выеденного не стоит — просто далеко и тускло, как светлячки за десять вёрст в лесу. Но если выйти к публике или к казне и сказать честно: «Ничего не найдём, слишком тускло», — не будет ни кликов, ни бюджета. Куда выгоднее продавать страшный «тёмный лес».

А Жан, поднимая потухший фонарь, вдруг прыснул со смеху:

— А больше всего мне нравится ваша «скорлупа вокруг солнца»! Это ж надо — вообразить, будто разумные существа на другом краю неба непременно окажутся такими же жадными суконщиками, которым мало одной земли, подавай им обмотать железом целую звезду, чтоб ни лучика мимо печи не пропало! С чего бы умному существу обязательно соответствовать вашим фантазиям и строить самую большую кузницу во Вселенной, а не жить себе тихо?

— Хороший вопрос, Жан, — сказал Антон, вставая с бочонка и глядя на колючие осенние звёзды. — Наверное, потому что мы везде ищем только самих себя, только размером побольше.



Глава V

Право сильного

В те же сентябрьские дни, в пятидесяти лигах к востоку от Парижа, Влад очнулся на раскисшей просёлочной дороге под низким серым небом. Впереди, на зелёном холме, стояла приземистая каменная башня с зубцами, окружённая частоколом, а над воротами полоскался выцветший багряный стяг с золотой перевязью и чёрным вепрем.

Влад посмотрел на свои кожаные берцы, на чёрное пальто, ощупал под ним широкие, налитые за два года курсов плечи — и широко ухмыльнулся.

Никакой налоговой, никаких жалоб от водителей, никакого Петровича. Влад годами цитировал Ницше вперемешку с Айн Рэнд, гонял быстрые перекупки под прикрытием фамилии, качал железо на фарме и не сомневался: в настоящем Средневековье, где решает сила, такой парень быстро займёт место наверху.

Через полчаса он уже стоял во внутреннем дворе замка. У коновязи стоял хозяин башни, сир Годфруа — сухощавый рыцарь лет сорока в потёртом стёганом гамбезоне, с рассечённой бровью и спокойным, тяжёлым взглядом. Рядом двое парней лет шестнадцати чистили кольчуги в бочке с песком. Влад небрежно окинул взглядом этого «дрыща» лет сорока и худых подростков — на их фоне со своими ста килограммами налитой массы он чувствовал себя настоящим тяжёлым зверем.

Влад расправил плечи, высоко поднял подбородок и шагнул прямо к рыцарю.

— Приветствую, благородный сэр! — громко сказал он. — Я человек из далёких земель, ищу достойного сюзерена. Готов служить вам как равный среди благородных — за лен или достойное содержание.

Рыцарь медленно оторвался от осмотра подковы своего коня и окинул Влада с ног до головы.

— Чьих будешь? — коротко спросил он. — Имя рода, герб, грамота от твоего сеньора?

Влад усмехнулся.

— Грамоты и бумажки — удел клерков и слабаков, — веско произнёс он. — Я — человек дела. Аристократия — это не побрякушки предков, а воля, ум и превосходство над толпой. Мир держится на сильных личностях, которые расправляют плечи и берут своё по праву природы!

Двор затих. Один из парней у бочки перестал крутить кольчугу и уставился на гостя.

— То есть ты безродный, — спокойно перевёл рыцарь. — Ни герба, ни земли, ни поручительства, ни даже имени отца, за которое кто-нибудь ответил бы головой. Но раз ты у нас «сильный по праву природы»… ладно, посмотрим, на что ты годишься. Эй, Роже! Принеси-ка ему старый лук и выведи Гнедого.

Влад небрежно распахнул тяжёлое пальто, показывая широкую грудь и бицепсы в обтягивающей чёрной водолазке, и через минуту держал в руках тяжёлый трофейный английский лук из тиса высотой почти в свой рост. Он уверенно упёрся ногами, взял стрелу, потянул тетиву — и замер. Красивые зальные грудные и руки на тренажёрах оказались бесполезны: тис требовал непривычной, глубокой работы спины и прожжённых годами сухих связок. Тетива сдвинулась едва ли на ладонь. Влад багрово покраснел, дыхалка мгновенно сбилась, он натужился всем корпусом, дёрнул изо всех сил — лук жалобно скрипнул, стрела выскользнула из скользких от пота пальцев и вяло воткнулась в грязь в трёх шагах от него.

— Ясно, — без тени улыбки сказал рыцарь. — В седло.

Гнедой оказался огромным, широким в груди боевым конём, от одного вида которого у Влада пересохло во рту. После трёх унизительных попыток вскарабкаться в стремя, зацепившись пальто за луку, его просто подсадил под зад один из конюхов. Едва Влад оказался наверху и дёрнул поводья, конь недовольно фыркнул, шагнул вбок — и «естественный аристократ» мешком свалился прямо в раскисшую навозную лужу.

— Понятно, — вздохнул рыцарь, даже не повышая голоса. — Допустим, ты не воин, а человек двора. Назови-ка мне, чьи знамёна стоят на нашей башне, кто держал эту долину при старом короле Филиппе и

какой род поёт в «Песне о Роланде» о верности сеньору? Или, может, сложишь прямо сейчас пару строф в честь хозяйки замка — простую канцону, как умеет любой приличный паж?

Влад стоял по щиколотку в грязи, вытирая ладонью мокрое лицо. Он знал слово «феодализм», знал «правый поворот» и пару цитат из интернета про «атлантов» — но не знал ни одного реального рода, ни одного подвига, ни размера стиха, ни даже того, как по правилам обращаться к даме.

— Я не поэт, — глухо выговорил он. — Зато я умею драться! Дайте меч — и я докажу своё право силой!

Рыцарь молча кивнул. Ему сунули в руки тупой тренировочный деревянный меч, обтянутый кожей, и выставили против него того самого шестнадцатилетнего Роже — худощавого паренька, который минуту назад чистил кольчугу.

Влад сжал рукоять двумя руками, уверенный, что уж со всей своей центнеровой массой перешибить худенького паренька — плёвое дело, замахнулся с плеча, как в кино, и с криком шагнул вперёд.

Всё кончилось за четыре секунды. Залитая водой и уколами «сила» оказалась неповоротливой и короткой на выдох: Роже, с восьми лет махавший железом и таскавший кольчуги без всяких чудо-курсов, даже не стал отбивать удар — просто шагнул в сторону, мягко отвёл чужой клинок вбок, коротко ткнул Влада навершием в солнечное сплетение и подставил ногу. Влад с сиплым хрипом рухнул на землю, не в силах вдохнуть и судорожно хватая ртом воздух.

Сир Годфруа сплюнул в сторону, не дожидаясь, пока Влад отдышится.

— Бесполезная скотина, — бросил он конюху, разворачиваясь к крыльцу. — Если не сдохнет до вечера — сунь ему вилы, пусть чистит стойла за похлёбку и угол на сеновале. На большее не годен.

* * *

Через три недели у Влада облезли ладони, ногти почернели от конского навоза, а в волосах прочно поселилась сенная труха. Но внутри он всё ещё держался за свою старую веру.



«Ничего, — думал он по вечерам на холодном сеновале, растирая ноющую спину. — Это просто стартовая позиция. Рынок силы везде одинаков. Сильный, умный и безжалостный всё равно пробьётся наверх — надо только поймать момент, показать хватку, стать нужным барону».

Момент подвернулся в дождливый четверг, когда сир Годфруа собрал шестерых латников и десяток челядинцев — ехать к речке разбираться с соседом. Сосед, барон из нижней долины, поставил у брода свой плот и переманил телеги с солью, которые раньше исправно платили пошлину на гнилом мосту Годфруа. Влада погнали пешком в хвосте — держать заводных лошадей и тащить запасные копья.

Вместо красивого рыцарского боя, какого Влад насмотрелся в фильмах, у брода случилась грязная, матерная свалка в раскисшей глине. Кричали мужики, визжали упущенные кем-то свиньи, латники хрипло ругались и молотили друг друга древками по щитам — больше стараясь сбить с коня, чем убить.

И тут Влад увидел свой шанс.

Чуть в стороне, у самого оврага, увяз в грязи молодой рыцарь со стороны соседей — в новеньком зелёном сюрко поверх кольчуги. Конь его

оступился, всадник нелепо завалился на бок, выронил меч и забарахтался в луже, как перевёрнутый жук. Никто из своих к нему не спешил.

Влад сжал зубы. Он бросил поводья, выдернул из плетня тяжёлый дубовый кол, с разбега подскочил к оврагу и со всей злостью за три недели в навозе вмазал колом прямо по блестящему шлему. Шлем глухо звякнул. Влад навалился сверху, придавил парня коленом к глине и приставил к прорези забрала свой тупой конюшенный нож.

— Сдавайся, щенок! — прохрипел Влад, оглядываясь в поисках сира Годфруа. — Господин барон! Я его взял!

Сир Годфруа подъехал на взмыленном коне через десять секунд. Он глянул на зелёное сюрко с тремя серебряными щуками, потом на грязного конюха с ножом у чужого горла — и потемнел лицом.

Не слезая с седла, барон коротко размахнулся и со всего плеча огрел Влада тяжёлым концом плети прямо поперёк лица.

Влад с воем отлетел в грязь, схватившись за рассечённую губу. Во рту стало солоно от крови.



— Ты что творишь, падаль безродная?! — рявкнул Годфруа, и в его голосе не было ни капли благородства — одна чистая хозяйская ярость. — Кто тебе позволил клешни свои на рыцаря поднимать?! Проткнул бы

ему глотку своим гвоздём — кто бы мне потом двести ливров выкупа платил?! Он же племянник виконта! Пошёл прочь к коням, пока я тебе уши не обрезал!

Барон спрыгнул с коня, сам подал руку грязному зелёному «щенку», помог подняться и даже похлопал его по плечу, стряхивая глину с сюрко:

— Ушибся, Этьен? Не обессудь, скотина тупая попалась, не признала герб. Твой дядя всё ещё злится из-за прошлогоднего леса? Поехали ко мне, обсохнешь, у меня как раз бочонок бургундского открыт — заодно и обсудим, во сколько обойдётся твоя прогулка к моему броду.

Вечером Влад сидел на мокром чурбане у кухонного крыльца, прижимая к распухшей губе холодную тряпку и ковыряя ложкой пустую репную похлёбку.

За приоткрытым ставнем хозяйской залы ярко горел очаг, подавали жареного каплуна и пряное вино. Влад покосился в просвет — и у него свело челюсть. За длинным столом у камина сидел сир Годфруа, а рядом с ним, в сухом бархатном камзоле, раскрасневшийся и довольный, сидел тот самый «пленник» Этьен. Они хохотали, кидали кости на серебро и лениво, по-свойски торговались — сошлись на ста восьмидесяти ливрах и шести бочках вина к Михайлову дню. Над разорённой переправой и мужиками, которым днём переломали рёбра у брода, оба только отмахнулись.

— Я ж его в канаву уложил, — глухо, не веря собственным глазам, выговорил Влад, поворачиваясь к сидевшему рядом старому одноглазому десятнику Мартену. — Этот сопляк даже в седле не держится! Какого чёрта барон с ним пьёт, как с родным, а мне плетью по зубам?!

Мартен медленно прожевал корку чёрного хлеба, сплюнул в темноту и посмотрел на Влада как на деревенского дурачка.

— Ты совсем, что ли, отбитый, парень? — равнодушно спросил он. — Ну и что, что он в седле не держится? За этим сопляком стоят три каменные башни, дядька при дворе и сорок копий родни. Сегодня наш его на броде поймал — взял выкуп. Завтра его дядька нашего на дороге перехватит — возьмёт выкуп обратно. Они одной масти: волки друг дружке глотки не рвут, они пастбище делят.

— Но я же полезнее него! — вырвалось у Влада. — Я сильнее!

— Кому ты на хрен сдался со своей силой? — хмыкнул Мартен, вытирая нож о штанину. — Сильный конь у меня вон в стойле стоит, я ж его за стол с бароном не сажаю. Ты влез со своей палкой туда, где господа свои дела решают, да ещё чуть дорогую скотину не попортил. Скажи спасибо, что сир Годфруа сегодня в духе — на выкупе-то он две деревни в залог приберёт. Был бы злее — велел бы тебе руку отрубить, чтоб холопы не путали, кто тут хозяин, а кто навоз.

Наутро у ворот замка заорал и запричитал заезжий купец: люди Годфруа молча перегружали в баронский амбар половину его телеги с солью — «штраф за объезд законного моста». Никто не объяснял купцу про «честь сословия» и «ответственность сильных». Старший латник просто ткнул ему под нос пергаментом с восковой печатью и лениво поправил на поясе кистень.

Влад стоял у навозной кучи с вилами в ободранных руках. Мимо него к псарне прошёл сир Годфруа — в чистом плаще, с двумя борзыми на поводке. Барон прошёл в двух шагах от Влада, переступил через его тень и даже не повернул головы — ровно так же, как не смотрят в глаза лопате или корыту.

Над холмом сидела обычная семейная шайка, веками делившая дороги, мосты и деревни с точно такими же шайками за соседней рекой. В этот клуб пускали не за хватку и не за наглость, а по крови, браку и числу копий за спиной.

* * *

Из замка сира Годфруа Влад ушёл без всякого героизма — дождался сырой, туманной ночи, сунул за пазуху краюху чёрствого хлеба, перелез через низкий плетень за конюшней и зашагал прочь по размытой дороге. Вдогонку никто не поскакал: барону и без того хватало забот, чтобы тратить коней на битого конюха.

Через два дня, продрогший и злой, Влад увидел впереди высокие зубчатые стены, черепичные крыши и строгий каменный шпиль городской башни с часами. Над воротами висел герб не какого-нибудь барона, а самой городской коммуны — два скрещённых ключа и зубчатая башня.

Влад остановился перед воротами и впервые за месяц улыбнулся.

«Городской воздух делает свободным».

Он помнил эту фразу из лекций по истории. У барона сидела тупая родовая шайка с копьями — ладно, с этим он ошибся. Но город — совсем другое дело! Здесь живут купцы, ремесленники, буржуазия. Здесь решают деньги, хватка и свободный рынок. А уж в рынке-то Влад разбирался на все сто: он с закрытыми глазами мог объяснить, как гибкий, дешёвый и быстрый новичок рвёт на куски неповоротливых монополистов.

Первый щелчок по носу он получил уже через полчаса, ещё не дойдя до главной площади. У самых ворот Влад увидел мужика с полной корзиной дешёвых яблок и тут же сообразил простейшую схему: перекупить корзину за пару медяков прямо у стены, донести до людного моста и продать вдвое дороже. Едва он успел сторговаться с крестьянином, как на плечо ему опустилась тяжёлая рука в кожаной рукавице.

— Перекуп до рыночного колокола, — буднично сообщил усатый городской сержант с алебардой. — Корзину в ратушу, а ты, умник, либо платишь пять су штрафу, либо садишься на часок в колодки.

Корзину пришлось бросить и позорно ретироваться в переулок. Ладно, торговать с рук без дозволения нельзя — бюрократия, везде одно и то же. Значит, нужно не перепродавать, а производить.

Четыре дня Влад таскал мешки с мукой на речной пристани, пока не сорвал спину и не скопил двенадцать мелких монет. Вечером четвёртого дня в дешёвой харчевне у кожевенного ряда он разговорился с соседом по лавке — жилистым, нескладным тридцатилетним сапожником по имени Колен.

Колен говорил медленно, по два раза переспрашивал простые слова и всё время оглядывался на дверь, будто ждал подзатыльника. Выяснилось, что он шьёт обувь двенадцать лет, чинит подмётки быстрее хозяина, но соображает туго, счёта на пергаменте боится как огня и молча сносит любую придирку старого мастера Жиро: дома второй месяц кашляла жена, на руках двое малых, а на прошлой неделе Жиро урезал ему плату за сломанное шило.

— Погоди, — удивился Влад, сразу прикинув расклад, как когда-то в гараже с запуганными водителями-частниками. — Если ты сам всю работу тянешь — возьми да открой свою лавку!

Колен тупо поморгал, словно не понял вопроса.

— Совсем нездешний, что ли? В нашем цехе по уставу ровно двадцать четыре мастерских места. Все заняты. Освободится место — только когда старик помрёт. А чтобы тебя в мастера приняли, надо внести тридцать ливров в казну цеха, сшить шедевр, который примут старшины, да ещё закатить пир на сорок ртов. И даже с деньгами не возьмут — у каждого мастера свой сын есть или племянник. Вся дорога в люди одна: жениться на вдове старого сапожника или на кривобокой дочке мастера Рено.

У Влада загорелись глаза. Тугодум с золотыми руками, загнанный в угол семьёй и долгами — лучшего исполнителя для быстрого дела не придумаешь.

— Слушай меня внимательно, Колен, — негромко, с хозяйским нажимом начал он, наклоняясь через липкий стол. — Мы сейчас их всех обойдём. Я снимаю на краю квартала, подальше от их улицы, недорогой погреб. На мои деньги берём у заезжих кожевников обрезки и простую овечью кожу — она втрое дешевле той дублёной телятины, которую требует твой устав. Шьёшь простую обувку без лишних выкрутасов, при свечах, после колокола — пока твои старики храпят в перинах.

Колен побледнел и мелко затрясся, сжимая пустую кружку.

— Ты спятил?! Ночью шить запрещено — устав велит при дневном свете, чтоб стежок не гулял! А мешать овечью кожу с телячьей — вообще подсудное дело! У меня жена больная, если присяжные старшины накроют, они мне колодки разобьют и по миру пустят… Мне не надо…

— Кому ты сдался в своём погребе, пока молчишь? — прижал его Влад, перебивая на полуслове. — Продавать буду я сам — у пристани, грузчикам и подёнщикам. Они за дешёвые башмаки ноги целовать будут! Через месяц выкупишь лекаря для бабы, наймёшь двух подмастерьев, а твои толстопузые старшины сами придут проситься к нам на пай. Ну? Или так и будешь всю жизнь за сломанное шило перед Жиро шапку ломать?

Колен долго молчал, шевеля губами, как человек, которому тяжело сложить даже две цифры, оглянулся на свою стоптанную обувку — и наконец глухо кивнул.

Четыре ночи они сидели в тесном, промозглом подвале при чадящей сальной свече. Колен работал молча и упорно — его тонкие, привычные пальцы мелькали быстрее, чем Влад успевал подавать дратву, а

стоило сапожнику зевнуть или засомневаться, Влад коротко одёргивал его натренированными в конторе приказами. Сам Влад резал дешёвые подошвы, прикидывал прибыль с каждой пары и чувствовал себя так, будто вернулся к настоящей жизни: никакой баронской дури — голая хватка, сжатые издержки и свой человек на крючке.

В субботу утром Влад сложил семь пар башмаков в мешок и вышел в проулок у рыбного причала.

Случилось то, на что он рассчитывал. Едва Влад назвал цену — на треть ниже, чем в сапожном ряду, — вокруг тут же сгрудились грузчики, лодочники и пара худых подёнщиц. Башмаки хватали, гнули, цокали языком и без торга отсчитывали медь и мелкое серебро. За двадцать минут ушло пять пар. В кулаке у Влада тяжело звенели монеты.

Торопясь обратно, он не заметил веснушчатого мальчишку-ученика из лавки мастера Жиро, который постоял в пяти шагах, оглядел товар и со всех ног припустил в сторону сапожного ряда.

Когда через полчаса Влад спустился обратно в подвал и высыпал монеты на перевёрнутый ящик, тяжёлая дверь за его спиной с грохотом распахнулась от удара сапогом.

В тесную каморку ввалились пятеро: двое плотных мужчин в добротных суконных плащах с медными бляхами старшин, трое городских сержантов с окованными железом палками и за их плечами — старый мастер Жиро.

— Вот они, голубчики! — каркнул Жиро, тыча костлявым пальцем в ящик с монетами. — Мой беглый подмастерье и этот залётный жулик!

Никто не стал тратить время на крик. Один из старшин молча шагнул к верстаку, схватил оставшиеся две пары башмаков, вытащил кривой нож и одним движением распорол оба голенища сверху донизу.

— Телячья кожа смешана с овечьей, — громко и ровно перечислил он, кидая куски в полотняный мешок. — Подошва в один слой, набойка сырая. Плюс капли сального воска на швах — работали в запретный ночной час. Нарушение седьмой, четырнадцатой и двадцать первой статей устава цеха сапожников.

Второй старшина сгрёб с верстака все инструменты, а деревянные колодки с хрустом расколол обухом о каменную стену. Колен даже не дёрнулся — только побелел и сжался у бочки, заслонив лицо локтем.

— Показывай, собака, куда обрезки прятал! — взвизгнул Жиро, и ближайший сержант замахнулся тяжёлой окованной дубинкой прямо в голову втянувшему плечи сапожнику.

Влад сам не успел подумать зачем — просто шагнул поперёк и подставил плечо. Палка глухо хрястнула ему в ключицу, а второй сержант с размаху ткнул тупым концом древка под рёбра так, что Влад согнулся пополам и едва не выплюнул воздух.



— Вы с ума сошли?! — прохрипел он, всё ещё закрывая собой съёжившегося Колена. — Это частный товар! Люди сами купили эти башмаки, их всё устроило! Это честная конкуренция!

Старший присяжный повернул к нему красное, невозмутимое лицо.

— Какая, к дьяволу, «конкуренция», голодранец? — хрипло спросил он. — Ты гнильё по углам толкаешь, устав рвёшь и цену сбиваешь! Сегодня ты сшил башмак из обрезков за полцены — завтра на ярмарке скажут, что наши сапожники гонят дешёвую дрянь, и все двадцать четыре лавки сядут на бобы! Кто городу подать платит? Кто сторожу на стенах держит? Кто больных подмастерьев в богадельне кормит? Ты, что ли, из этого погреба?!

— Колен двенадцать лет на вас горбатился! Почему он не может сам работать на себя?!

— Потому что в приходе уже двадцать четыре лавки, а ног у горожан вдвое больше не выросло! — плюнул на пол Жиро. — Понасажай вас тут по подвалам — завтра все пойдём по миру!

— Веди их в ратушу, — велел старшина сержантам, ссыпая монеты Влада в свой кожаный кошель. — Пусть эшевен разбирается.

Через четверть часа их ввели в высокий зал ратуши. За широким дубовым столом, заваленным свитками, сидел дородный человек в подбитом мехом тёмно-вишнёвом плаще — городской эшевен. Едва они переступили порог, мастер Жиро улыбнулся и по-свойски поклонился:

— Доброго утра, кум Анри! Прости, что отрываем от зерновых счетов — полюбуйся, какого хитреца мы в подвале у пристани накрыли.

Эшевен Анри — торговец сукном в третьем поколении, зять старшины мясников и крёстный отец младшего сына мастера Жиро — даже не поднял головы от пергамента, пока присяжный зачитывал обвинение: тайное ремесло без вывески, сбыт негодного товара, подрыв хартии и подстрекательство присяжного подмастерья.

— Господин судья! — крикнул Влад, выходя вперёд. — Погодите! При чём тут город и торговля — у вас люди без дешёвой обуви ходят! А если уж по закону — кожу брал я, шкуры резал я, продавал на пристани я. Колен этот вообще пустого слова не понимает — я его силой уговорил, отпустите его к семье, не порите человека зазря!

Колен сбоку поднял на него ошалелые, мокрые глаза. Влад и сам не понял, на черта заступается за чужого дурака, которого четыре дня назад держал за скотину без мозгов — но язык уже сказал своё.

Эшевен Анри наконец отложил перо и поднял на Влада тяжёлый, скучающий взгляд человека, у которого в подвалах лежит триста тюков фландрского сукна.

— Послушай, бездомный, — негромко, без раздражения сказал он. — Наш город стоит триста лет, и стоит крепко, потому что каждый знает свою улицу, свой прилавок, свою цену и свой круг. Нам не нужны ни твои дешёвые обноски, ни твои уговоры. Колена — под поручительство обратно к мастеру Жиро, отработает штраф и стоимость кожи за полгода без плетей, мне чужие работники в горячке не нужны. А этому бродяге — пять плетей у позорного столба за подстрекательство, выручку — в

казну цеха сапожников, и к вечернему колоколу вышвырнуть за городские ворота. Попадётся внутри стен ещё раз — обрежьте ему ухо, чтоб каждый видел вора. Следующее дело.

Под вечер, когда над черепичными крышами ударил городской колокол — знак, по которому все лавки закрывают ставни в одну минуту, чтобы никто не работал дольше соседа, — Влад вышел за дубовые ворота.

Под драной рубахой ровно и горячо саднило от пяти свежих полос на спине и ломило сбитую палкой ключицу. В карманах не было ни гроша. На обочине Влад оглянулся на два скрещённых ключа и зубчатую башню над воротами, сплюнул на дорогу и пошёл дальше — всё никак не понимая, какого чёрта вообще подлез в том погребе под дубинку ради Колена.

* * *

Сумерки застали Влада в двух милях от городских стен, на пустынном перекрёстке у сгоревшей ветряной мельницы. Спина под драной рубахой саднила при каждом шаге, в животе урчало, а с реки тянуло колючим туманом.

За почерневшими стенами мельницы мелькнул огонь и потянуло дымом костра и жареным мясом.

Влад свернул с дороги и увидел лагерь. У трёх костров, втиснутых под остатки каменного свода, сидели человек двадцать — разномастных, худых, с обветренными, равнодушными лицами. На одном была ржавая кольчуга поверх рваного гамбезона, на другом — простая железная капеллина и тяжёлый арбалет с поясным крюком, третий деловито точил оселком длинный, грязный тесак. Никаких гербов. Никаких цеховых блях. Одни потёртые сёдла, котелки, мешки с чужим добром и привязанные к плетню костлявые лошади.

Вольная рота. Наёмники.

Влад замедлил шаг. Баронская башня оказалась закрытой шайкой по крови. Вольный город — такой же семейной лавкой с присяжными старшинами. Но здесь люди без господина, без герба и без устава. Чистый договор. Оружие, дело и доля добычи.

Он шагнул в круг света от ближнего костра. Ближайший арбалетчик тут же лениво поднял голову, положил ладонь на рукоять кинжала и кивнул в сторону невысокого жилистого человека с сизым шрамом через всю щёку, который сидел на перевёрнутом бочонке и не спеша резал кусок бараньей лопатки.

— Чего надо, оборванец? — спросил человек со шрамом, даже не переставая жевать. Говорил он с резким южным выговором — гасконец.

— Ищу службу, капитан, — ровно, стараясь не горбиться от боли в спине, сказал Влад. — В городе мне делать нечего, к баронам не пойду. Руки целые, голова на плечах. Возьмите в роту — буду работать за долю.

Гасконец — звали его Арно — прожевал мясо, сплюнул в угли и оглядел Влада тем самым пустым, цепким взглядом, каким мясник щупает старую корову на ярмарке.

— Конь есть?

— Нет.

— Кольчуга? Бацинет? Копьё?

— Нет.

— Арбалет? Умеешь хоть крюком тетиву натягивать, не порвав себе пузо?

Влад промолчал.

— Значит, ни железа, ни коня, ни ремесла, — подытожил Арно. — И за какой хрен тебе «доля»? У нас в роте счёт простой, как на весах: конный латник берёт полный пай, пеший с арбалетом или пикой — полпая, потому что он свои деньги в железо и стрелы вложил. А голый бродяга без сапог — это не солдат, это обозная скотина.

— Я научусь, — упрямо процедил Влад. — Поставь в строй, дай копьё, я не сбегу.

— Копьё денег стоит, а ты мне к утру сбежишь или сляжешь с лихорадкой, — усмехнулся Арно, вытирая нож о штанину. — Нужен человек к котлам, таскать мешки, чистить конскую сбрую и копать отхожие ямы. За это получишь миску похлёбки, место у крайнего костра и два денье в неделю, если дело пойдёт ровно. Не нравится — вали обратно в канаву, там волки бесплатно кормят.

Влад сжал зубы. Деваться было некуда — ночь обещала мороз. Он молча кивнул.

Около полуночи у дальнего костра поднялся глухой крик. Двое дюжих пикинёров выволокли на свет тощего, скуластого парня из пехоты — при обыске у него в голенище сапога нашли две смятые серебряные ложки и женский крестик, припрятанные мимо общего мешка. Никто не звал судью, не читал статей устава и не выписывал штрафов. Арно просто хмуро взглянул на ложки, коротко махнул рукой — и двое наёмников прижали вора к земле, вывернули ему правую руку на деревянную колоду и одним хрустящим ударом обуха сломали запястье. Потом стащили с него добротные сапоги, сняли шерстяной плащ и пинками выгнали босого, воющего от боли парня в ледяную темноту.

— А если он замёрзнет до утра? — тихо, сам не зная зачем, спросил Влад у старого косоглазого обозника, с которым они скребли пригоревший котёл.

— Значит, замёрзнет, — пожал плечами обозник. — Тут тебе не цех сапожников, богаделен нет. Сломал ногу, поймал горячку, попался на крысятничестве — с тебя снимают сапоги, пока тёплые, и бросают у дороги. Полная свобода, парень. Никто тебя не держит и никто за тебя не отвечает.

Едва над туманом проступил серый свет, к мельнице подъехала скрипучая крестьянская телега. За поводья её вёл седой, запуганный старик в рваном армяке; в телеге лежали четыре мешка муки, два связанных поросёнка и маленький холщовый мешочек с медью и редким серебром. Старик молча, не поднимая глаз, отдал мешочек Арно, получил взамен крошечный клочок пергамента с грубой печатью и, перекрестившись, торопливо погнал клячу обратно в сторону деревни.

— Откупное за тишину — *патис*, по-здешнему, — пояснил обозник, принимая поросят. — Король сейчас всю знать да войско ко флоту в Слюйс стянул, на Англию идти, вот здешние и откупаются от наших, кто в Шампани остался. Они нам каждый месяц везут хлеб и серебро, а мы за это не жжём их гумна и не угоняем коров. Все довольны.

Через полчаса со стороны города прискакал всадник в добротном тёмно-синем плаще — и на груди его камзола Влад узнал вышитую серебром эмблему: два скрещённых ключа и зубчатую башню. Тот самый герб вольного города, из которого его вчера выгнали плетьми.

Всадник даже не спешился. Он по-деловому перебросился с Арно десятком коротких фраз, бросил ему тяжёлый кожаный кошель — за-



даток — и назвал дорогу, по которой послезавтра пойдут купеческие возы с сукном мимо моста сира Годфруа. Охранять товар и, если люди барона сунутся, «обломать им рога так, чтобы не трогали городскую казну».

Арно деловито пересчитал монеты, сунул кошель за пазуху и крикнул людям седлать коней.

Влад остался стоять у потухшего костра с грязным чугунным котлом в руках.

К полудню отряд остановился у дымного придорожного постоялого двора на развилке тракта — обмыть городской задаток. Наёмники с гоготом ввалились внутрь, а Влада оставили во дворе — поить лошадей у колодца и стеречь вьюки.

Он механически крутил скрипучий ворот, вытягивая бадью, когда краем глаза заметил человека, сидевшего на грубой скамье у самого крыльца.

Человек был худой, небритый, в поношенном сером шерстяном плаще, подбитом старой овчиной. На коленях у него лежала деревянная дощечка с прижатым листком бумаги, за ухом торчало гусиное перо, а рядом стояла заляпанная чернилами кожаная сума, набитая свёрнутыми

тетрадями. Он спокойно пересчитывал что-то на пальцах, поглядывая на телегу с бочонками уксуса и тюками тряпья для бумажной мельницы.

Влад уже собирался отвести взгляд — обычный бродячий писарь или приказчик, — но в этот момент порыв ветра откинул ворот чужого плаща.

И под грубой средневековой шерстью мелькнул выцветший, зашитый суровыми нитками чёрный хлопковый капюшон с растрёпанными синтетическими шнурками.

Влад так и замер с полным ведром в руках. Холодная вода плеснула ему прямо на дырявые башмаки.

— Худи? — хрипло вырвалось у него.



Человек на скамье замер. Поднял глаза, уставился на Влада — на его исхудавшее, обветренное лицо с запекшейся коростой поперёк губы, на оборванный крестьянский кафтан и остатки стоптанных, расклеившихся кожаных берцев, — и коротко выдохнул:

— О. Ещё один.

Влад поставил ведро на землю и, оглянувшись на шумную дверь харчевни, медленно подошёл к скамье.

— Ты… откуда? — тихо спросил он.

— Из того же века, что и твои берцы, — усмехнулся парень, осторожно поправляя плащ, чтобы снова спрятать чёрный капюшон. — Максим. Дома код клепал в конторе, вечерами на таблетках сидел да в комментах с верунами воевал про науку и тёмные века. Думал тут ведьм от инквизиции спасать.

Влад криво усмехнулся.

— И как? Спас?

— Получил три пятницы без мяса, восковую справку о верхоглядстве и совет открыть наконец Евклида и Сакробоско, — ответил Максим. — Потом два месяца таскал тюки у старого переписчика, варил орешковые чернила, а в монастыре от одного старика схватил урок про то, откуда берётся моя привычка на автомате огрызаться и жрать аптеку. Теперь вот езжу с обозом, веду приходные ведомости для бумажной лавки. Кормят дважды в день, сапоги целые, да и трогать грамотного клерка без дела тут не любят. А ты, судя по роже и компании в харчевне, явно пошёл другой дорогой?

Влад тяжело опустился рядом на край скамьи — побитая плетью спина саднила. Без курсов и тренажёров надутая в зале вода с него за эти недели уже почти сошла, и под грязной рубахой постепенно проступала сухая, нажитая работой крепость.

— Влад, — глухо представился он. — Я в семейной логистике крутился, темки всякие мутил, в зале на анаболиках под сотку раскабанел… Ну и всем вокруг про естественную иерархию, право сильного и свободный рынок втирал. Думал, здесь без нашей гнилой бюрократии сильный человек быстро наверх пробьётся.

Максим внимательно посмотрел на его рассечённую губу, на ободранные от вил и дратвы ладони, на выходящего из дверей харчевни пьяного арбалетчика, который уже шарил глазами по двору в поисках обозника.

— И как? Пробился?

— Барон выпорол за то, что влез в их семейный бизнес с выкупами, — сухо перечислил Влад, глядя на грязные лужи под ногами. — В вольном городе цеховики распороли товар, судья-кум выписал пять плетей за конкуренцию. А вот эти «свободные волки» за дверью работают на тот

же город, ломают своим руки за две ложки и платят мне два денье за чистку котлов.

Максим тихо, без злорадства усмехнулся.

— Смешно. Мы с тобой дома, небось, друг друга в комментариях с грязью бы мешали: я бы тебя обзывал мажором, а ты меня — нищим нытиком. А здесь обоих обломали за неделю — без чужой спины и без ремесла ты тут пустое место, хоть с дипломом, хоть с кулаками.

Из дверей харчевни послышался хриплый окрик гасконца:

— Эй, голодранец! Где котёл?! Оглох, падаль?!

Влад дёрнулся было встать, потом остановился и посмотрел на Максима.

— Слушай… а вашему хозяину бумажной лавки на телегу второй человек не нужен? Хоть мешки ворочать, хоть за счётами приглядывать. Я считать умею, и в торговле не дурак. По крайней мере, теперь точно знаю, где рот не открывать.

Максим прищурился, окинул взглядом потрёпанного «атланта», потом кивнул на крытую телегу с бочонками, стоявшую чуть поодаль, в тени забора.

— Хозяин у нас вредный, жадный и за каждый денье удавится, — честно предупредил он. — И в цех нас с тобой всё равно никогда не пустят — у него три зятя. Но уксус таскать лучше, чем ловить стрелу за чужой обоз, и руки там не ломают. Хватай свой сухарь и вали за телегу, пока твой капитан в харчевне кружку допивает — мы через пять минут трогаемся на Париж.

Влад коротко глянул на дверь, за которой горланили наёмники, плюнул в дорожную грязь, вытер мокрые ладони о штаны и без лишнего слова быстро шагнул за телегу.

* * *

На второй день пути обоз въехал на мост в торговый городок Провен — и старик велел свернуть на нижнюю площадь к лавке менялы. Под низким навесом на суконном столе стояли медные весы с мелкими гирьками, лежали пробный камень и толстая кожаная книга счетов. Хозяин достал из-за пазухи засаленный пергаментный вексель и положил

перед менялой: нужно было разменять десяток разномастных турских монет на парижский платёж и проверить роспись шампанского купца.

Пока старик и лохматый меняла-ломбардец в меховой шапке сверяли вес и чистоту серебра до последнего денье, Влад прислонился к оглобле, глядя на крошечную гирьку, и криво усмехнулся:

— Муторно же вы медь с серебром перевешиваете. У нас давно бумага к металлу не привязана. Главный банк сам рисует столько денег, сколько нужно экономике для роста, а банки выдают в долг в десять раз больше, чем лежит у них в сундуках. И работник у нас ни к цеху, ни к земле не привязан — свободный наём на рынке.

Меняла поднял глаза от весов, сдвинул очки в роговой оправе на лоб и глянул на нового возчика, а старик-бумажник только сплюнул под колесо.

— Про «сколько нужно бумаги» наш парижский магистр Николай Орем ещё лет двадцать назад написал целый трактат «О деньгах», — негромко вставил Максим, проверяя счёт на дощечке. — Написал прямо: когда король подмешивает медь в золотой или рисует пустой счёт без веса — это прямое воровство у подданных.

Меняла медленно отложил пергамент, прижал его бронзовым пресспапье и посмотрел на Влада скучающим взглядом.

— Погоди, парень, давай по простому счёту, — сказал он. — Если я завтра встану на площади и скажу купцам: «Несите ваши турские ливры под рост», сам выдам на один сундук серебра десять расписок, а старым вкладчикам начну отдавать исключительно из того, что принесли новые — да ещё на сам процент новых монет не отчеканю, чтобы долгов в мире всегда было больше всех денег, — что со мной сделает городской прево к ужину?

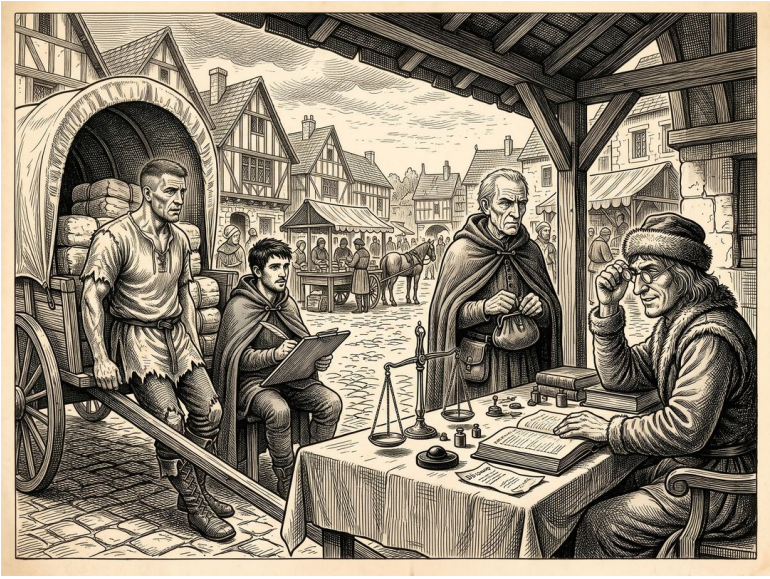
— У нас за такое сажают, — буркнул Влад. — Финансовая пирамида. Только у нас это законом закреплено за одним главным банком.

— Стало быть, вы не отменили мошенничество, — сухо бросил меняла, снова опуская очки к весам. — Просто объявили его преступлением для лавочника и правом для короля.

Старик-хозяин убрал разменный кошель за пояс и хмуро кивнул на крытую телегу с кипами бумаги:

— А про вашего «свободного работника» без цеха и земли я тебе, парень, так скажу. Когда я везу бумагу или сукно на ярмарку и скупщик

даёт дурную цену, я запираю тюки в амбар и жду до весны — товар лежит и есть не просит. А твой голый работник не может сложить свой вчерашний день на полку в амбаре! К утру у него брюхо пустое, через тридцать дней меняла или хозяин угла на пороге стоят. Без своего надела или цеха он к месячному счёту привязан туже виллана, как бы ты его вольным ни звал. Держи поводья, поехали на мельницу.



* * *

На третий день пути обоз свернул с большака к каменной мельнице у неглубокой речки — забирать свежую партию тряпичной бумаги.

Хозяин обоза — сухопарый, вечно недовольный старик с выцветшими бровями — целый час ругался с мельником, щупал на свет каждый лист, сбивал цену на пару денье с кипы и чуть не пересчитывал тряпки в чане. Когда наконец сошлись на сумме, не достали ни чернильницы, ни пергамента. Двое пожилых мужиков просто ударили по рукам, назвали количество стоп, вес груза и расчёт к дню святого Мартина у парижского монастыря Сен-Мартен — и мельник без лишних расписок велел работникам грузить тюки в телегу.

Влад, перетягивавший верёвку на задке, хмыкнул и негромко спросил шагавшего рядом Максима:

— Слушай… а что, бумаг никаких не пишут? Вот привезём мы этот груз в Париж, старик скажет: «Два тюка подмокли, плачу на треть меньше» — или мельник завтра продаст следующую партию перекупщику дороже. И что тогда?

— Тогда старик через неделю пойдёт по миру с сумой, — спокойно ответил Максим, не отрываясь от своей дощечки. — Здесь на тракте нет конторских юристов на каждом углу. Попробуй он хоть раз вывернуться на приёмке по мелкой придирке — к утру об этом будут знать и в Провене, и в Париже. Ни один мельник больше не отгрузит ему в долг ни стопы, ни один постоялый двор не даст овса без серебра вперёд. Купец тут живёт на одном честном слове — оно у него в кошельке тяжелее монеты лежит.

Влад дёрнул узел сильнее, чем нужно, и промолчал — вспомнив свой сентябрьский звонок перевозчику Дмитрию и пункт четыре точка семь.

Глава VI

Под сосновой шишкой

В Париж обоз вполз промозглым октябрьским утром, когда над Сеной висел густой осенний туман.

Колёса тяжело громыхали по мокрым плитам Малого моста. Влад шагал сбоку от запряжённой парой лохматых битюгов телеги, придерживая верёвку, которой были перетянуты тюки дорогой тряпичной бумаги и бочонки с уксусом и купоросом. За две недели дороги его ссадины затянулись, спина перестала гореть под грубой холщовой рубахой, а сам он усвоил главное правило нового мира: не лезь вперёд хозяина, держи рот на замке и проверяй, крепко ли завязаны узлы.

— Держи левее, у лавки пергаментщика проезд узкий, — негромко бросил Максим, шагавший чуть впереди с деревянной дощечкой и мешочком свинцовых пломб на поясе. — Сейчас сдадим товар университетскому книготорговцу на улице Соломы, и старик даст нам два часа передохнуть, пока сам будет торговаться в конторе.

Улица Соломы встретила их крикливой, разноязыкой толкотнёй. В узком каменном проулке, заваленном у стен жёлтыми охапками сырой соломы, толпились школяры в потрёпанных плащах, бродячие писцы, торговцы горячими каштанами и два здоровенных монастырских возчика, смачно крывших друг друга на смеси французского и кухонной латыни.

Влад с кряхтением снял с телеги тяжёлый ящик с сушёными чернильными орешками, прижал его к груди, развернулся к низкому крыльцу лавки — и в ту же секунду со всего маху врезался плечом в выходившего из дверей человека.

Ящик устоял, но у прохожего из рук вылетели исписанные листы пергамента, веером разлетевшись прямо в грязную лужу.

— Твою мать, под ноги смотри! — машинально, по-русски рявкнул Влад, перехватывая ящик.

Прохожий — худощавый парень лет тридцати в аккуратном коричневом суконном кафтане — замер на полдороге к луже. Потом разогнулся, оглядел Влада с ног до головы — особенно ещё розовый рубец через губу — и на чистейшем русском выговорил:

— Погоди… ты чего сейчас сказал?

От телеги обернулся Максим. Его глаза расширились, когда он увидел, как странный «студент» машинально сунул руку за пазуху — точно так же, как человек в XXI веке ищет в кармане телефон, — а потом поднял взгляд и заметил под отворотом серого плаща Максима выцветший край чёрного хлопкового капюшона.

— Да не может быть… — выдохнул парень в кафтане и, забыв про мокрый пергамент, ткнул пальцем в Максима. — Постой-ка! Рубаха без пуговиц! Так это про тебя брат Гильом рассказывал?! Который на площади орал про плоскую Землю и летающих ведьм?!

Максим густо покраснел и поспешно запахнул плащ.

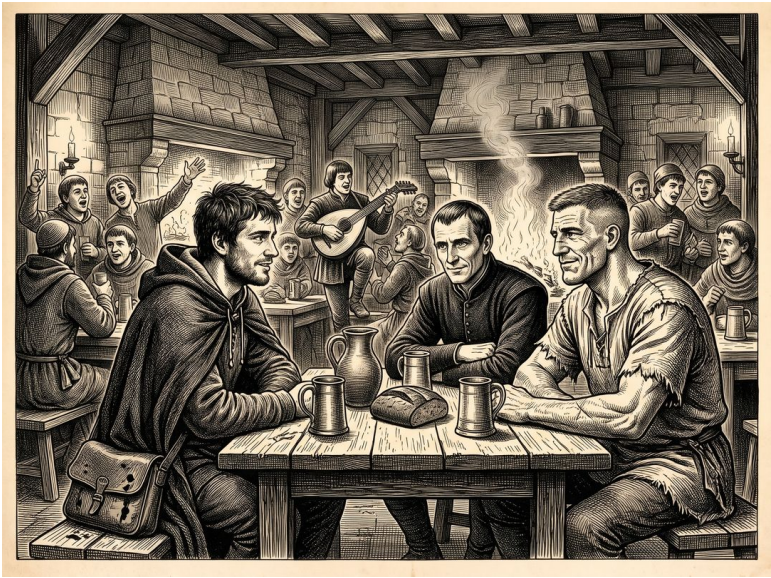
— Ну, допустим, — буркнул он. — А ты, позволь спросить, откуда знаешь брата Гильома? Тоже попал в срок милости?

— Хуже, — усмехнулся парень, нагибаясь и выуживая из лужи намокшие конспекты. — Я в первый же день полез громить схоластов на открытом диспуте. Меня зовут Антон. А вас, коллеги по несчастью?

Через четверть часа, сгрузив ящики и выпросив у скупого хозяина пару часов до вечерней погрузки, все трое сидели в дальнем углу таверны «Под сосновой шишкой».

За соседними столами гудели студенты, кто-то в углу наигрывал на свирели. Перед ними стоял глиняный кувшин горячего кисловатого вина с корицей и три оловянные кружки. Первую минуту они просто молчали — глядя друг на друга и слушая родную, не переведённую чудом в голове, живую русскую речь.

— Значит, давайте сверим досье, — первым нарушил молчание Антон, отпив вина и прищурившись. — Я, если что, вёл канал «Чайник Рассела». Атеизм, научный метод, разборы средневекового мракобесия, полмиллиона подписчиков — ну и вклеивал туда рекламу всяких мутных курсов и обменников, пока сценарии по англоязычным нарезкам клепал.



— Погоди… «Чайник Рассела»? — хмыкнул Максим, приглядываясь внимательнее. — Так я же твои ролики в спорах кидал! Как раз накануне провала твой выпуск про ведьм и вскрытия пересматривал.

Антон поморщился. Потом оба повернулись к Владу. Тот дожевал корку чёрного хлеба с солью, вытер ладони о штаны и сказал:

— А я на отцовском автопарке сидел, крутил мутные подряды, кидал мелких работяг по договорам и объяснял всем вокруг, что миру нужна благородная иерархия, естественная аристократия сильных и чистый свободный рынок без бюрократии.

Над столом секунду молчали — а потом все трое, до слёз, грохнули таким смехом, что ближайшие школяры оглянулись.

— Слушай, Влад, — вытирая глаза, выговорил Антон, — мы бы дома друг другу в комментариях глотки рвали. Я бы с тебя угорал за социал-дарвинизм и мажорский косплей — правда, может, и позвал бы на подкаст ради хайпа…

— А я бы вас обоих назвал безродными соевыми зубрилами, которых в нормальную эпоху за порог не пустили бы, — спокойно подтвердил Влад. — И, что самое обидное, на деле нас всех троих размазали одинаково. Рассказывай, «Чайник», как тебя-то сломали?

Антон вздохнул.

— Меня местный доминиканец, магистр Роберт, за десять минут разделал под орех на «Второй аналитике», — сказал Антон. — Я ему про «кто создал Бога» — а он мне про вертикальный ряд зеркал без источника света. Я ему про эмпирический метод — а он попросил взвесить сам этот принцип на весах. А потом мы с ним ещё на пару от студенческого призрака в коридоре бегали, пока я пикардийцев не подпоил и про бычий рог в дымоходе не выведал. Ну и под занавес я, дурак, начал хвастаться нашим XXI веком: ипотекой, ядерным сдерживанием, нейросетями, Стандартной моделью…

— Зря, — кивнул Максим.

— Очень зря, — сказал Антон. — Оказалось, без гладких терминов вся наша безопасность держится на том, что короли заперлись с факелами в пороховом погребе, наши нейросети просто переставляют чужие тени без живого субъекта, а вместо честной нелинейной физики люди строят собор из линейных костылей, потому что так проще писать статьи. Сижу теперь на соломе, учу Аристотеля и радуюсь, что меня вообще не выгнали.

— Да ты в санаторий попал, — хмыкнул Влад, глядя на чистый кафтан Антона и целые пальцы. — Тебя хоть словами били. И Максима тоже — три пятницы без мяса, велика драма. Мне про ваши бумажные банки, процент и свободный наём недавно старый меняла в Провене с нашим бумажником за три минуты всё по костям разложили — про «вчерашний день на полке в амбаре». Но сначала я, как последний дурак, прошёл все круги на собственной шкуре.

Максим криво усмехнулся, нагнулся под стол и чуть закатал штанину левой ноги. Поперёк коленной чашечки тянулся свежий, неровный, ещё багровый рубец со следом от ожога.

— Это я в августе на мокрой лестнице у мэтра Гуго с тюком бумаги кувыркнулся прямо на железную скобу, — спокойно сказал Максим, опуская штанину. — Расхлестал сустав чуть не до кости. Антибиотиков тут, как ты понимаешь, в аптеке не завезли. Цирюльник уже нёс грязные тряпки и мазь из свиного сала. Я у него нож отнял, наорал, велел воду прокипятить, купил за последние гроши склянку крепкой *aqua vitae* — перегнанного винного спирта — вылил прямо в рану, чуть сознание от боли не потерял, а край ещё раскалённым гвоздём прижёг.

— Помогло? — спросил Антон.

— Как видишь, нога при мне, не сгнила, — кивнул Максим. — Правда, к дождю ломит так, что хоть вой, и хромаю с утра, пока не расхожусь. А местный аптекарь после этого сказал мэтру Гуго, что чужеземец тронулся умом — портит добрый винный спирт на кожу и боится благословенной дождевой воды.

— О, знакомо, — хмыкнул Антон. — Меня в коллеже ровно за то же «кипячёным лекарем» прозвали. Руки мыть с мылом и кипятить бинты — никто тебя здесь слушать не станет, привычка сильнее.

Влад молча посмотрел на рубец, потом на свои сбитые костяшки и спорить не стал — только кивнул. Потом коротко, без жалости к себе, пересказал Антону весь свой маршрут: деревянный меч шестнадцатилетнего Роже, удар баронской плетью по зубам за попытку испортить дорогого «пленника», подвальный стартап с дешёвыми башмаками, судья-кум в ратуше и гасконская вольная рота, ломающая своим руки за пару серебряных ложек по заказу всё того же города.

Антон слушал, постепенно мрачнея, и под конец покачал головой.

— Жесть, — сказал он. — Тебе реально досталась полная программа.

— Зато быстро дошло, — пожал плечами Влад, наливая себе ещё вина. — Знаете, я пока с обозом шёл, всё думал: как же легко дома было трепаться. Годами можно вещать на полмиллиона человек от имени науки, продавая им рекламу всякого мусора и не открыв ни одной книги. Можно купить надутые мышцы за пару уколов фармакологии и корчить из себя «атланта» за папиной спиной, не умея даже натянуть лук и продержаться четыре секунды против шестнадцатилетнего сопляка с деревяшкой. Можно с аптечной таблеткой во рту сидеть дома в сети, хвастаться «плечами гигантов» и поливать грязью Бога — и за это ничего не бывает, только лайки капают, никто в зубы не даст и весами не проверит.

— В точку, — тихо сказал Максим. — Я два месяца с местными переписчиками бок о бок прожил, пока считал их тюки. Оказалось, люди тут не глупее и не умнее нас. Просто у них нет этой мягкой прокладки. Ошибся в счёте — хозяин вычтет из пайка. Полез в чужой цех — побьют. Ляпнул чушь на диспуте — высмеют при всём зале. Каждая твоя идея здесь моментально проверяется либо логикой, либо железом, либо пустым желудком.

В этот момент к их столу, покачиваясь с полной кружкой в руке, подошёл румяный бакалавр Жан. Он весело оглядел незнакомую компанию и ткнул Антона локтем в плечо:

— Ого, чужеземец, никак твоих земляков из-за моря принесло? Судя по роже этого бугая, он у вас там на факультете искусств экзамен по фехтованию провалил! Вы чего тут шепчетесь на своём птичьем наречии — новую нацию на факультете открываете или заговор против трактирщика?

— Да нет, Жан, — с улыбкой ответил по-латыни Антон. — Просто старые знакомые. Обсуждаем, почём нынче бумага и кто на самом деле дурак.

— А, ну благородное дело! — хохотнул бакалавр, поднимая кружку. — Если надумаете брать ещё кувшин — кричите хозяину, пусть наливает из старой бочки, в новой он с утра воды перелил, проклятый еретик!

Жан подмигнул им и уплыл обратно к шумной компании у камина, где уже снова настраивали лютню.

Трое попаданцев проводили его взглядом.

— Хороший парень, — заметил Максим, вставая и поправляя ремень своей заляпанной чернилами сумы. — Ладно, мужики, нам пора. Мой старик к полудню вернётся из конторы — если нас у телеги не будет, он и без баронской плети с нас три шкуры спустит.

Влад тоже поднялся, кряхтя натянул на сбитые костяшки грубые холщовые рукавицы и протянул Антону тяжёлую, шершавую ладонь.

— Бывай, атеист. Если вдруг найдёшь способ вернуться обратно — расскажи там у себя на канале таким же умникам, как я, что волк без папиной крыши, герба и сорока копий кончается на конюшне.

— А остальным — что Сакробоско стоит хотя бы пролистать, прежде чем смеяться в комментах, — добавил Максим, пожимая Антону руку. — Мы в Париже ещё недели две пробудем, пока старик не продаст бумагу и не закупит сукно. Заглядывай на постоялый двор у ворот Сен-Жак, если свободный вечер будет.

Напоследок они на всякий случай обменялись настоящими фамилиями и городами — Антон тут же вывел их углём на уголке чистого пергамента: «Максим Соколов, Ярославль» и «Владислав Корнилов, Москва».

— Постараюсь заглянуть, — ответил Антон. — Если меня на днях не завалят перепиской к диспуту.

Он смотрел вслед двум фигурам в грубых шерстяных плащах, которые вышли за низкую дубовую дверь и растворились в сером парижском полдне. Один чуть прихрамывал на левую ногу и нёс в суме тетради с приходными счетами, второй поправлял на ходу тяжёлый дорожный мешок на плече — и ни один из них ни разу не оглянулся.

Антон допил остатки вина, сунул под мышку свёрнутые конспекты Аристотеля, бережно спрятал за пазуху сложенный листок пергамента с угольной записью и пошёл обратно на улицу Соломы, ещё не зная, что через две недели в пустом углу зала коллежа на рассвете дрогнет воздух — раньше, чем он успеет дойти до ворот Сен-Жак.

Глава VII

Возвращение и архивы

Первый ноябрьский мороз пришёл в Париж тихо, без снега — просто к утру лужи на улице Соломы схватились тонкой белой коркой, а воздух стал таким звонким, что шаги по булыжнику отдавались за два квартала.

Антон пришёл в пустой зал коллежа на рассвете, за час до первой лекции. За два месяца он успел привыкнуть к этому холодному своду, к жёсткой соломе и даже к тому, что руки по утрам немеют без перчаток. Он положил на крайнюю скамью свои конспекты Аристотеля, чтобы закончить до занятий переписку глав «Топики», — и вдруг замер.

В дальнем углу, ровно на том месте, где он очнулся в свой первый день, воздух странно дрожал. Не было ни вспышек, ни грохота — просто каменная стена за пустой охапкой соломы на мгновение теряла резкость, и сквозь утреннюю тишину пробивался далёкий, знакомый гул городских улиц и слабый треск люминесцентной лампы.

Дорога обратно открылась.

Антон стоял у стены и не двигался с места. Сделай три шага — и через секунду под ногами снова будет тёплый ламинат, горячий душ, зубная паста, антибиотики и мягкое кресло. Останься — и впереди промозглая парижская зима, жёсткая солома, свечи, от которых слезятся глаза, и жизнь, где обычная царапина может свести в могилу.

За спиной скрипнула дубовая дверь. В зал вошёл магистр Роберт с вязанкой пергаментов под мышкой, а следом за ним — сонный, растрёпанный Жан, на ходу застёгивающий ворот суконного плаща.

— Рано ты сегодня, чужеземец, — зевнул Жан и осёкся, проследив за взглядом Антона. — Погоди-ка… что это там у стены? Воздух плывёт, как над жаровней.

— Это мой дом, — тихо сказал Антон. — Похоже, меня зовут обратно.

Жан отступил на полшага и покосился на магистра. Роберт положил свитки на кафедру, подошёл к Антону и внимательно посмотрел на дрожащую полоску воздуха в углу зала.



— Значит, время пришло, — ровно произнёс он. — И ты стоишь здесь, потому что не знаешь, шагнуть ли туда.

— Не знаю, магистр, — честно признался Антон. — Там тепло. Там лечат болезни, от которых здесь умирают за три дня. Там вся музыка, все книги, горячая вода из крана. Но я вспоминаю всё, о чём мы говорили у камина… эти бесконечные бумажные долги, этот страх перед машинами, эту вечную грызню в сети, где люди даже не слушают друг друга, а просто кидаются заученными ярлыками… И мне, если честно, страшно возвращаться. Здесь, при всей вашей грязи и холоде, я впервые за много лет почувствовал, что говорю с живыми людьми, а не с говорящими таблицами.

Магистр Роберт помолчал, потом коротко, без всякой мягкости покачал головой.

— Не ври себе, юноша. Ты сейчас делаешь ровно ту же ошибку, с которой сюда приехал — только вывернул её наизнанку.

Антон удивлённо поднял на него глаза.

— То есть?

— Два месяца назад ты верил, будто твой век — сплошной свет разума, а наш — сплошной мрак и глупость, — сказал Роберт. — Теперь ты готов поверить ровно в обратное: будто здесь — рай для свободного ума, а там — беспросветный ад. Но люди везде одинаковые. Через неделю у нас на факультете снова передерутся две нации студентов из-за пустяка, весной придёт лихорадка, а какой-нибудь жадный епископ попробует прижать университетские права. Если ты останешься здесь, чтобы спрятаться от своего времени, — это будет не мудрость, а бегство.

— Но что мне там делать? — спросил Антон. — Снова записывать ролики про «Тёмные века»? Я больше не смогу врать с умным видом.

— А ты не ври, — вмешался Жан, подходя ближе и хлопая его по плечу. — Ты же сам говорил, что у вас там есть эта невидимая паутина, через которую тебя слышат тысячи людей. Вот и расскажи им, как работает честная логика. Не про то, какие мы тут святые — мы тут, слава Богу, обычные грешники, — а просто научи их проверять собственные посылки, прежде чем смеяться над другими. Глядишь, хоть десяток человек перестанет думать как твой «гигантский абак».

— И ещё одно, — добавил магистр Роберт, и в уголках его глаз мелькнула знакомая сухая улыбка. — Не вздумай пересказывать им наши споры как новые готовые формулы, чтобы снова блистать перед толпой. Иначе ты просто сменишь один набор чужих слов на другой. Проверяй всё сам — мерой, весом и честным рассуждением. Вот тогда от твоего путешествия и правда будет толк.

Дрожание воздуха у стены стало чуть шире, и из проёма повеяло сухим комнатным теплом и шумом ноябрьского проспекта.

Антон глубоко вдохнул холодный парижский воздух, стараясь запомнить этот зал, серый свет из стрельчатых окон, сухое лицо доминиканца и весёлый прищур Жана.

— Спасибо, магистр, — тихо сказал он. — За всё. И тебе спасибо, Жан.

— Да не за что, чужеземец, — махнул рукой бакалавр. — Только если встретишь там своего «брата Гильома» из вашего закрытого грантового цеха — не спорь с ним натощак. И вино не пей разбавленное!

Антон улыбнулся, развернулся и без оглядки шагнул в дрожащий воздух.

Его качнуло, в ушах коротко зазвенело — и в следующую секунду под ногами оказался мягкий ковёр. В тёмной, непроветренной квартире на столе лежала стопка запылённых бумаг и стоял стакан с высохшим ободком воды на дне, а сам он так и стоял посреди комнаты в потёртом парижском суконном кафтане с запрятанным за пазухой клочком пергамента.

Антон тронул мышь. Монитор мигнул и проснулся. На часах в углу экрана стояло начало ноября — он отсутствовал ровно два месяца. Поверх открытого с сентября текстового файла со старым заголовком «5 мифов о Средневековье, в которые до сих пор верят» посыпались десятки непрочитанных уведомлений: сначала недоумённые сообщения от менеджера, потом гневные письма от рекламного агентства с угрозами неустойки за сорванные сентябрьские интеграции, потом встревоженные звонки от пары знакомых и от матери из другого города, привыкшей, что он подолгу пропадает в монтаже — хотя последние сообщения от неё уже звучали неспокойно.

Потянувшись за клочком пергамента, Антон машинально глянул на уголок экрана, где в браузере с сентября висела открытая латинская цитата из Фомы Аквинского — та самая, которую он собирался вставить на фон ради насмешки, — и вдруг моргнул. Буквы были знакомыми, но сами собой в ясный русский смысл больше не раскладывались. Чужое чудо понимания осталось по ту сторону порога: здесь, в Москве, латынь снова стала мёртвым языком, который придётся брать со словарём.

Антон перезвонил матери первым делом — выдумал сбивчивую историю про глухой ретрит без связи, пообещал приехать в выходные. Потом открыл переписку с рекламным менеджером и коротко написал: «Жив, был без связи. Предоплату за курсы и обменник возвращаю сегодня, интеграций не будет». Вернулся в текстовый редактор, выделил бодрый сентябрьский абзац про плоскую Землю и «нелепые эпициклы», удалил всё до последней буквы и на чистом белом листе медленно набрал новую первую строчку:

«Прежде чем смеяться над чужой моделью мира, давайте проверим, понимаем ли мы собственную».

* * *

Новый ролик Антон выложил через две недели, в пятницу вечером — без кричащей превьюшки с огненными буквами, без привычного саркастического монтажа и впервые за два года вообще без рекламы. Сорок минут спокойного разбора: почему тезис «истинно только проверяемое опытом» сам не проверяется опытом по логике «Второй аналитики», чем на самом деле были эпициклы с точки зрения математики, как парижский магистр Николай Орем ещё в четырнадцатом веке показал наблюдательную неразличимость движения Земли и неба, и почему спор с карикатурным «мракобесием» — это не наука, а дешёвый театр.

К утру субботы под видео горело три тысячи комментариев, а статистика канала бодро катилась вниз: за ночь отписались двенадцать тысяч человек.

«Отписка. Антон, сколько тебе занесли из патриархии? Раньше был нормальный канал про разум, а теперь скатился в оправдание скрепоносного мракобесия!»

«Не досмотрел, выключил на пятой минуте. Автор буквально защищает плоскую Землю и костры инквизиции, классический демагог.»

«Смотрю, текст явно нейросеть писала — сплошная вода про какие-то „скрытые аксиомы“. В общем, очередной гуманитарий порвался.»

Антон потянулся было к клавиатуре, чтобы ткнуть комментатора носом в таймкоды, но вовремя остановился и усмехнулся: люди просто прогоняли стандартный скрипт — точно такой же, какой он сам прогонял ещё в сентябре.

Чуть ниже, под валом дизлайков, висела короткая строчка с сорока лайками:

«Слушай, я сам физик и атеист, зашёл побомбить, но на моменте про разложение по кругам и скрытые посылки эмпиризма реально подвис. Полез проверять про Орема и „Вторую аналитику“ — и правда, мы об этом вообще ничего не знали, кроме мемов из учебника. Спасибо, впервые за год было интересно думать. Делай ещё.»

В понедельник днём, когда Антон вышел в ближайшую пекарню за хлебом, у входа его перехватил Глеб — его бывший рекламный менеджер, в приталенном пуховике и с двумя стаканами латте в картонном держателе.

— Антох, ну ты и устроил! — выпалил Глеб, сунув ему в руки стакан и увлекая за столик у окна. — Я думал, тебя в Таиланде обокрали, а ты, оказывается, в Аристотеля ударился! Слушай, давай без паники, всё ещё можно откатить. У меня сейчас горящий слот: нормальная лицензированная беттинг-контора, не те крипто-жулики, платит на двадцать процентов выше осеннего прайса. На обложку лепим «ОНИ ВРАЛИ НАМ ПРО НАУКУ?!» красным шрифтом, делаем твоё ошалелое лицо — и через неделю вернём охваты.

— Глеб, я не буду ставить ставки, — спокойно сказал Антон, отодвигая стакан. — И ошалелое лицо лепить не буду.

Глеб моргнул, словно Антон перешёл на латынь.

— Погоди. Это что, новый формат? Типа *dark academia*, аскетизм, все дела? Ну окей, крутой пивот, я только за! Давай тогда продавать под эту аудиторию курсы по критическому мышлению и подписку на сервис саммари книг за пятнадцать минут! Сделаем воронку, прогреем на споре с хейтерами…

— Глеб, — Антон впервые за два дня рассмеялся вслух, — ты только что предложил продавать «саммари книг за пятнадцать минут» под роликом о том, что нельзя судить о книгах, не читая их.

— Ну и что? — искренне не понял Глеб. — Конверсия-то пойдёт! Народ любит чувствовать себя умным без напряга. Ты чего, всерьёз собрался на полмиллионнике читать лекции бесплатно, без интеграций и без кликбейта? Тебя же через два месяца алгоритмы в ноль уронят, и половину света на Авито понесёшь!

— Похоже на то, — кивнул Антон, поднимаясь из-за стола. — Извини за осеннюю подставу с предоплатой, всё до копейки я вернул. А дальше я сам.

Глеб ещё долго смотрел ему вслед через стекло, крутя в пальцах ложечку, — с тем самым искренним недоумением, с каким в Париже на Антона смотрели после его лекции про кипячение бинтов.

* * *

До самой середины зимы Антон намеренно не искал Максима и Влада в сети: пока он не проверял записанные на обрывке пергамента имена,

Париж оставался живым и твёрдым, а не долгим сбоем в собственной голове.

Он решился только в конце января, в субботний вечер. Достал из ящика стола потемневший лоскут пергамента с угольными буквами, открыл чистую вкладку и набрал: «Максим Соколов Ярославль пропал».

Третья ссылка вывела на заметку в городском паблике и старую ориентировку поискового отряда от середины июля. На мутном фото с пропуска улыбался знакомый худой парень лет двадцати девяти — только без щетины, остриженный коротко и аккуратно. В короткой сводке сообщалось, что сотрудник IT-компании Максим Соколов вышел из дома июльским вечером в чёрном худи, после чего перестал выходить на связь, а телефон его в последний раз отметился на вышке неподалёку от дома и замолк навсегда.

Антон пролистал открытую страницу Максима в соцсети. Репосты про игры и программирование вперемешку со злыми комментариями в антирелигиозных пабликах — и последний ответ от восемнадцатого июля: ссылка на старый ролик самого Антона с подписью «На, почитай про своих любимых инквизиторов, умник».

Антон выдохнул: не приснилось.

Он открыл вторую вкладку и вбил: «Владислав Корнилов Москва пропал».

Поиск выдал короткую заметку в деловых новостях за сентябрь и пост о розыске с фотографией из бизнес-профиля: Владислав Корнилов, тридцать лет, сын владельца сети автосервисов и транспортного парка, исчез в начале сентября по дороге с работы. С обложки его заброшенного телеграм-канала смотрел Влад — в строгом чёрном пальто на фоне капота чёрного внедорожника, с ровной линией подбородка, без шрама на губе и с холодным взглядом хозяина жизни. Под последним постом от восьмого сентября — очередная цитата из Айн Рэнд про атлантов — висел залайканный комментарий какого-то знакомого: «Очевидно же — сынок просто кинул кого-то на крупный подряд и свалил в Дубай, пока отец хвосты заметает».

Здесь, на серверах двадцать первого века, до сих пор висели их старые, самоуверенные тени. А сами живые Максим и Влад остались там — на раскисшей осенней дороге во Франции, в грубых овчинных тулупах

поверх залатанных рубашек, проверяя, крепко ли перетянуты верёвками тюки тряпичной бумаги.

Антон закрыл обе вкладки и в феврале и марте выпустил два больших видео подряд — строго по архивным хроникам, цеховым уставам, городским хартиям и учебнику Иоанна Сакробоско, без единого слова про перемещения во времени. В первом сухо разобрал экономику рыцарских выкупов, цеховых картелей и наёмных рот, завершив выпуск одной фразой в камеру: *«Дворянство без герба и сорока копий всегда заканчивается на конюшне»*. Во втором — устройство канонического права, «срок милости» и астрономию XIV века, просто посоветовав напоследок тем, кто смеётся над плоской Землёй, хотя бы раз открыть Сакробоско.

К весне канал Антона было не узнать. Предсказание Глеба сбылось почти в точности: просмотры упали впятеро, крупные контракты пропали, а половину дорогого студийного света действительно пришлось продать. Но в комментариях исчезла привычная травля — остались те, кому было интересно проверять первоисточники самим.

Антон больше не снимал ролики про готовые ответы из конца учебника. Он не вставал ни за «святое Средневековье», ни за «сияющий XXI век»: просто ставил рядом замысел и то, что из него выходило в руках живых людей — как «срок милости» тормозил деревенские самосуды и как тот же механизм зверел в руках политиков, как из стремления к точности выросла современная физика и как грантовая бюрократия превращает её в закрытый цех.

Весь апрель, готовя выпуск о том, как удобные расчётные схемы в головах популяризаторов превращаются в неприкосновенные догмы — от эпициклов до Стандартной модели, — Антон заново поднимал университетские учебники и старые статьи Шрёдингера, сверяя каждую формулировку со знакомыми с физфака. Когда выпуск вышел, в комментариях тут же появился возмущённый оппонент с цитатами из популярных книжек: мол, сомневаться в «реальных шариках-частицах» и нейтрино, которые миллионами ловят в подземных баках, — то же самое, что верить в плоскую Землю.

Антон ответил коротко и по существу: детектор в баке показывает не «шарик», а пороговый щелчок прибора, который мы трактуем внутри расчётной схемы с ручным обрезанием масштаба — а само уравне-

ние Дирака допускает совершенно иную, непрерывную картину, где дрожащее движение электрона Шрёдингер описывал как интерференцию частот, а не как точечную дробинку, и нелинейная физика спинорных токов до сих пор остаётся открытым вопросом. Ветка затихла на полчаса, после чего оппонент вывалил длинный, гладкий как по линейке абзац из нейросети с перепутанными терминами, получил три ехидных замечания от физиков из аудитории Антона, влепил дизлайк и молча исчез.

* * *

Через несколько дней после этого выпуска Антону неожиданно написал бывший однокурсник по физфаку Илья. Они не виделись лет семь: Илья уехал писать диссертацию по квантовым цепям в Англию, защитился и недавно вернулся искать место дома. Вечером они встретились на лавочке у старого корпуса института, где оба когда-то бегали на пары.

Илья был худой, в поношенной куртке и заметно дёрганый. Долго мялся, потом достал телефон и молча протянул Антону открытую почту.

— Я твой последний ролик видел, — сказал он. — Про «эпициклы» и закрытый цех. Глянь сюда. Чтобы просто понять, почему я третий месяц хожу как в воду опущенный.

Писем было три. Первое — короткое и добродушное: Илья с душой благодарил своего бывшего российского наставника, профессора крупного столичного научного центра Виктора Сергеевича Колосова, за старую научную школу, рассказывал о поисках лаборатории и в шутку упомянул, что запустил автоматическую рассылку резюме по мировым университетам — и вдруг получил из Калифорнии тёплое человеческое письмо от профессора, помнившего их общие статьи и просившего передать Колосову привет.

Ответ от Колосова пришёл через восемнадцать минут. Вместо пары живых слов или приветствия стояли три сухие строчки: «Правильно ли я понимаю, что в этом спаме используются мои личные данные, например электронная почта? Я категорически против такой рассылки. Надо было согласовать. Как это остановить?» Когда Илья растерянно

пояснил, что в файле лежат лишь его собственный диплом и список опубликованных статей, где фамилия соавтора и так стоит на титуле, прилетело отсечённое: «Хорошо, Илья, тогда это Ваше дело. В.К.».

А дальше висело третье письмо, отправленное всего пару недель назад: Илья прошёл три жёстких отбора в сильную группу за рубежом по открытым квантовым системам, его номинировали на престижную международную стипендию, и для заявки требовались три рекомендации. Он вежливо попросил у старого учителя короткое письмо.

Ответа не было. Ни поздравления, ни отказа — пустота.

— Вот она и есть, твоя «заглохшая мельница», — сказал Илья, пряча телефон в карман куртки. — Он боится, что его фамилия без спросу промелькнёт мимо совета, боится косого взгляда грантодателей, боится за кресло в журнальной коллегии. На бумаге у нас всё свободно, а как только сделаешь шаг без оглядки — безымянные рецензенты молча кладут статью под сукно, и даже бывший учитель отвечает тебе казённым «это Ваше дело».

Антон проводил Илью до трамвая и долго потом стоял на остановке. У них в двадцать первом веке никто не жёг бумаг, не выводил на паперть со свечой и не ставил красных печатей. Некому было даже возразить на открытом диспуте: судьи были безымянные, дверь без «срока милости», а приговор состоял из молчания и перекрытого кошелька.

Вспомнился тёмный двор парижского коллежа и вопрос магистра Роберта у потухшего фонаря — о том, кто же держит учёных у одной заглохшей мельницы.

* * *

Мысль поискать Максима и Влада в настоящих архивах пришла к Антону уже к началу лета, когда он готовил очередной выпуск про устройство средневековых церковных судов и полночи листал оцифрованные французские реестры рубежа четырнадцатого и пятнадцатого веков.

Сначала он искал наудачу. Вбил в поиск название трактира на улице Соломы — ничего, кроме пары упоминаний о студенческих драках в старых парижских реестрах. Поискал магистра Роберта с факультета искусств — и утонул в десятке Робертов, каждый второй из которых

комментировал Аристотеля. Попытался найти брата Гильома — и снова наткнулся на полдюжины доминиканцев-канонистов той эпохи.

Он уже собирался закрыть вкладку, когда взгляд зацепился за короткую сноску в статье французского медиевиста о позднесредневековых трибуналах Шампани и Иль-де-Франса. В примечании мелким шрифтом упоминался «судебный нотарий и впоследствии инквизитор, ученик канониста Гильома де Сен-Дени, известный в реестрах как Максимин Чужеземец (*Maximinus Peregrinus*)».

Антон перечитал сноску ещё раз, скопировал латинское имя в поисковик — и через секунду на экране открылась короткая, на три абзаца статья во французской Википедии.

«Максимин Чужеземец (лат. *Maximinus Peregrinus*; год рождения неизвестен — ум. ок. 1421, Реймс) — доминиканский монах, юрист и папский инквизитор в северной Франции на рубеже XIV–XV веков. Сведения о его происхождении и ранней жизни отсутствуют; согласно монастырской хронике, в зрелом возрасте служил писцом у торговца бумагой, после чего поступил послушником к канонисту Гильому, при котором изучил каноническое право и астрономию…»

Антон тихо выдохнул и провёл ладонью по лицу. Максим Соколов из Ярославля не просто остался там — он пошёл в ученики к тому самому брату Гильому, который выписал ему пост и Сакробоско, и сам надел чёрно-белую рясу доминиканца.

Антон полез дальше в библиографию, нашёл оцифрованный сборник латинских судебных протоколов и два часа подряд, спотыкаясь о старую латынь и сверяясь со словарём, разбирал сохранившиеся бумаги брата Максимина.

В самом раннем листке — черновике письма 1391 года к приорату Реймса, ещё от имени простого писца, — сохранилась сухая запись о выезде в деревню под Шато-Тьерри, куда он поехал с постаревшим Гильомом переписывать свидетельские показания. Сельские мужики уже тащили к пруду привязанную к жерди полоумную старуху, обвинив её в падеже скота у старосты. Старый Гильом, едва держась на ногах после лихорадки, встал поперёк дороги с одним Декретом Грациана под мышкой и полчаса перекрикивал пьяную толпу, требуя двух независимых свидетелей и осмотра хлева — пока мужики не остыли и не развязали верёвку. На полях того же листа мелким, угловатым почерком

самого Максимина была приписана короткая латинская фраза: *«Если некому держать книгу, вилы всегда быстрее»*. Через полгода он значился в списках уже послушником ордена проповедников.

Дальше шли десятки лет вязкой, рутинной работы маленького церковного судьи — никаких паровых машин и предсказаний будущего.

В 1396 году в деревне под Мо крестьяне притащили в трибунал старуху, обвинив её в порче скота и полётах на шабаш. В протоколе сохранилась лаконичная резолюция Максимина: «По допросу свидетелей и осмотру скотного двора установлен падёж скота от гнилого корма и соседской вражды из-за межи; показания о полётах суть бабьи басни (*aniles fabulae*) и верхоглядство ума. Обвиняемую отпустить с миром, зачинщикам назначить штраф за ложный донос».

В другом деле — 1404 года — он отменил приговор светского бальи, уже готовившегося пытать бродячего лекаря, сославшись на то, что показания получены с нарушением порядка — без законных улик (*indicia legitima*) и без двух независимых свидетелей. В письме к молодому нотарию, сохранившемся в библиотеке Реймса, он оставил одну строчку: «Бойся не еретика, который сомневается от невежества, а судьи, который спешит вынести приговор, не сверив книг и фактов».

Уже под утро, с красными от экрана глазами, Антон наткнулся в описи дел Максимина за 1408 год, по Шалону-на-Марне, на чужое имя. В третьей строке суконщицкого доноса на загородный приют за южными воротами значился его смотритель: **Владислав Шрам** (*Ladislaus Cicatrix*), в другом списке — просто брат Владислав Милостивый, мирянин-терциарий, в прошлом возчик бумажного обоза.

Антон вбил в поиск *Ladislaus Cicatrix* и *Châlons maison-Dieu* — на этот раз даже Википедии не нашлось. Только короткая заметка в краеведческом журнале департамента Марна девятнадцатого века о старых загородных благотворительных братствах Шампани и оцифрованная страница приходской поминальной книги.

Влада так и не приняли ни в один цех и не дали ему никакого дворянства. Он остался человеком без герба, со шрамом через губу и перебитой плетью спиной. Годам к сорока, скопив скудные деньги на извозе и торговых счетах, он выкупил старый каменный амбар за пределами городской стены — прямо на той грязной дороге, где когда-то сам замерзал в канаве. Вместе с парой таких же выбитых из колеи ремеслен-

ников и вдов он устроил там скромный зимний приют для тех, кого не принимал никто: покалеченных наёмников без сапог, выгнанных подмастерьев, старых подёнщиков, деревенских погорельцев.

Краевед XIX века цитировал жалобу городского старшины, в которой тот злился на этого «угрюмого, резкого на язык чужеземца со сломанными костяшками пальцев», который скупает на рынке дешёвое зерно для нищих, вытаскивает пьяных калек из зимних канав и «открыто смеётся в лицо богатым мещанам, когда те толкуют о благородном происхождении». Но ещё больше историка поразила приписка из приходской книги 1412 года: смертность от горячки и нагноения ран в этом бедном приюте оказалась заметно ниже, чем в богатом городском госпитале. Горожане посмеивались над чудачеством угрюмого смотрителя, который заставлял всех мыть руки щёлоком, варил полотно для повязок в котле с кипятком и переводил дорогую *aqua vitae* на обмывание ран; однако сама слава о том, что калеки в амбаре выживают чаще, прочно закрепилась в народе как знак особого Божия промысла и благодати под покровительством самого инквизитора и епископа.

А в самом конце заметки приводилась потёртая латинская надпись с простой известняковой плиты, найденной при перестройке старой часовни в 1840 году. Без герба, без титулов, без даты рождения — только год смерти, 1419-й, имя *Ladislaus* и три коротких слова под ним:

Nemo solus stat. «Никто не устоит в одиночку».

Антон долго сидел неподвижно, глядя на эти три слова на белом экране.

Никто из них двоих не попал в школьные учебники и не оставил после себя ни машин, ни трактатов. Пожалуй, в углу монастырской библиотеки или за стеной зимнего приюта воздух однажды тоже дрогнул, возвращая дорогу обратно — в сухую квартиру, к горячей воде, деньгам и прежним привычкам. И оба просто прошли мимо.

Антон открыл скан шалонского протокола за ноябрь 1408 года — того единственного дня, когда две их строчки снова сошлись на одном листе пергамента.

Глава VIII

Две сноски из 1408 года

Ноябрьский дождь 1408 года падал косо, пополам с мокрой снежной крупой, и быстро превращал дорогу за южными воротами в бурую кашу.

Инквизитор Максимин Чужеземец кряхтя сполз с низкорослого серого мула. Левое колено — разбитое ещё в тот первый август на мокрой лестнице переписчика и с тех пор накрепко застуженное на зимних дорогах под Труа — ныло так, что на секунду пришлось упереться ладонью в мокрую луку седла. Ему перевалило за пятьдесят; под чёрным дорожным плащом доминиканца сутулились худые плечи, виски совсем побелели, а между бровями пролегла глубокая, сухая складка — точь-в-точь такая же, какая когда-то лежала на лбу его покойного учителя, брата Гильома.

Рядом суетливо переминался старшина цеха суконщиков мэтр Тибо в добротной подбитой мехом шапке, а чуть поодаль молодой нотарий по имени Жак прятал под плащом кожаную сумку с чернильницей и сургучом.

— Вот оно, досточтимый отец, самое гнездо! — с горячим рвением указал мэтр Тибо на длинный, приземистый каменный амбар в сотне шагов от крепостного рва. Из сложенной наспех кирпичной трубы над просевшей черепицей тянулся тонкий серый дымок. — Целый год твердим эшевенам: без дозволения города сбились в кучу бродяги, беглые подмастерья, увечные солдаты! Милостыню собирают без цехового знака, ведут речи против законного порядка — чистые бегарды, ересь свободного духа! Вот и смотрите сами!

— Помолчите, мэтр Тибо, — ровно, без всякого выражения сказал Максимин, вытирая мокрые очки в костяной оправе краем рукава. — Что есть ересь, а что — злость на чужой карман, здесь решаю я. Идёмте.

Тяжёлая дубовая дверь скрипнула, и они вошли в полутёмное, натопленное помещение. Вдоль каменных стен на настилах из досок и свежей соломы сидели и лежали человек пятнадцать: безногий арбалетчик с седой бородой, две худые женщины с сопливым младенцем, скрюченный подагрой старик-красильщик и парень с заново замотанной лубком рукой. В большом очаге ровно гудел огонь, над которым булькал закопчённый чугунный котёл, а рядом на плоском камне остывал малый горшок с кипячёными белыми тряпками.

Увидев чёрно-белую рясу доминиканца, в амбаре стихли разговоры. Кто-то перекрестился, а безногий солдат сжал свой костыль.

От очага, вытирая руки о грубый серый подрясник мирянина-терциария, поднялся кряжистый, широкий в кости человек с короткой седой бородой. Сквозь бороду наискосок к уголку рта тянулся старый, давно побелевший шрам.

Он сделал два шага навстречу, прищурился в полумраке — и на мгновение замер так резко, что деревянный черпак в его руке едва не выскользнул из сбитых, узловатых пальцев.

Максимин тоже остановился. Секунду они просто смотрели друг на друга — двое постаревших, обветренных мужчин, которых когда-то в другой жизни знали под совсем другими именами. Ни один не вскрикнул, не бросился обниматься. За двадцать с лишним лет оба слишком хорошо выучили, когда и при ком следует держать лицо.

— Мир этому дому, — тихо и совершенно официально произнёс Максимин. — Ты здесь старший? Брат Владислав?

— Я, святой отец, — глухим, прокуренным голосом ответил Владислав, и в его глазах мелькнула острая усмешка. — Входите, согрейтесь с дороги. Похлёбка постная, без мяса, но горячая.

— Сначала дело, — сухо оборвал инквизитор и кивнул молодому нотарию. — Пиши, Жак.

Следующие полчаса Максимин провёл с той самой скучной, железобетонной въедливостью, которой выучился у брата Гильома. Он не торопился и не повышал голоса. Подошёл к безногому арбалетчику, спросил, причащался ли тот на Пасху и читает ли «Отче наш»; проверил, в какой приходской церкви ходят к исповеди обитатели амбара; осмотрел узкую полку у входа, где вместо тайных еретических трактатов лежала одна засаленная Псалтирь, старая расходная книга на зерно, связ-

ка сушёного тысячелистника и закупоренная воском глиняная фляжка с перегнанным спиртом.

Потом он медленно повернулся к мэтру Тибо, который уже начал заметно переминаться с ноги на ногу.

— Итак, мэтр, — бесстрастно зачитал Максимин, заглядывая в протокол Жака. — В вашем доносе сказано, что в сем доме отрицают церковные таинства и хулят власть прелатов. Назовите двух достойных веры свидетелей, которые лично слышали от Владислава или его людей слова против веры.

— Ну… люди на рынке болтали… — замялся суконщик, тут же вскидываясь. — Да вы поглядите на них! Он сам прошлым летом нашему старшине в лицо смеялся, когда тот ему указал на устав! И зерно скупает дешёвое, и подмастерье моего кума, паршивец, сюда бегал от штрафа прятаться! Вам бы не книги листать, отец, а порядок наводить, коли уж присланы от епископа!

У Максимина на долю секунды сжалась челюсть, плечи едва заметно подались вперёд. Он помолчал, спокойно отсчитал про себя два ровных удара сердца и ответил тем же невозмутимым, сухим голосом:

— Смех над цеховым старшиной не входит в перечень ересей, утверждённый Собором, мэтр Тибо. А укрытие калек и вдов от зимнего мороза в Евангелии, если мне не изменяет память, называется делом милосердия. Что же до ложного доноса в деле веры, то каноническое право предусматривает за него покаяние на паперти со свечой в руках и ощутимую пеню в пользу бедных. Причём как раз ближайшей богадельни.

Суконщик побагровел. Он открыл было рот, но наткнулся на холодный, абсолютно ровный взгляд инквизитора, сглотнул и молча отступил к двери.

— Можете идти, мэтр, — мягко добавил Максимин. — Если городской совет ещё раз попытается прикрывать свои торговые счёты именем Святой Церкви, я вызову в трибунал не вас, а сразу господина эшевена. Ступайте с Богом.

Когда дверь за суконщиком с глухим стуком захлопнулась, Максимин повернулся к своему нотарию.

— Жак, иди к воротам, присмотри за мулами и перепиши начисто охранную грамоту от имени владыки епископа Шарля де Пуатье — я

велю приложить печать, чтобы этот амбар числился церковным приютом. Погрейся у привратников, не стой под дождём, я скоро выйду.

Нотарий покорно поклонился и вышел.

В амбаре снова притихли; трещали сырые поленья, да покашливал в дальнем углу старик-красильщик. Владислав налил в две простые деревянные кружки горячего яблочного взвара, кивнул на низкую лавку за дощатой перегородкой у задней стены — там, где лежали мешки с мукой и было почти темно, — и протянул одну кружку гостю.

Максим сел, вытянул ноющее колено, обхватил тёплое дерево озябшими ладонями и медленно, с трудом пробуя давно забытый вкус чужих согласных, произнёс по-русски:

— Ну… здравствуй, «атлант».

Слова прозвучали странно — чуть неловко, с въевшимся в горло хрипом французской и латинской речи. Владислав коротко, хрипло рассмеялся, потирая шрам на губе, и ответил так же непривычно, чуть растягивая гласные:

— Здорово, инквизитор. Глазам не верю… Вылитый твой старик Гильом. Даже морщина между бровями точно такая же.

— Работа нервная, — усмехнулся Максим, отпивая горячего взвара. — Бумаг много, дураков ещё больше. И смотрю, фляжку на полке ты не зря держишь — запомнил наш разговор в таверне про кипяток и спирт?

— Запомнил, — хмыкнул Влад. — Правда, чудаком зовут — мол, добрую воду жизни на драные раны переводит. Зато мрут реже.

— А ты сам-то как сюда попал? — спросил Максим. — Я думал, ты так при том бумажном старике и остался.

— Помер старик двенадцать лет назад, — просто сказал Влад. — Лавку зятья раздербанили, а мне из милости оставили хромого мерина, телегу и сорок ливров жалования, что он мне годами зажимал. Ну я и купил эту развалюху за стеной. В городе меня всё равно никуда не пустили бы, а здесь крыша, очаг, ничьим глазам не мозолит. Сначала один жил, потом зимой на дороге подобрал вон того, безногого — с него сапоги сняли и бросили в канаве, точно как при мне когда-то гасконцы сделали. Потом вдова с ребёнком прибилась. Потом ещё двое. Так и пошло.

Максим внимательно посмотрел на его большие, изуродованные многолетней тяжёлой работой руки — совсем не похожие на холёные ладони человека из старого чёрного пальто.

— Знаешь, Влад… если бы мне тогда, на постоялом дворе, кто-то сказал, что я стану доминиканцем-инквизитором, а ты откроешь приют для нищих и калек — я бы ему в лицо рассмеялся.

— А чему смеяться? — пожал плечами Влад. — Когда сам пару раз поваляешься в грязи с перебитой спиной да под палку за чужого тихого сапожника подлезешь и посмотришь, как быстро человек без плеча рядом дохнет под забором, вся эта болтовня про «сильных волков» вылетает из башки за одну зиму. Сильный-то я, может, и сильный — а в одиночку тут всё равно сгниешь. Вот и держимся друг за друга, как умеем. А ты? Как тебя-то в рясу занесло?

— Через год после той осени в Париже, когда наши дороги с обозом разошлись, я снова столкнулся с братом Гильомом, — негромко ответил Максим. — У него писец слёг с горячкой, а дел была гора. Я нанялся на месяц переписывать протоколы… и остался. Знаешь, я ведь когда-то полжизни в интернете поливал грязью и Бога, и Церковь, доказывая всем, какие тут звери и фанатики. А потом увидел вживую, как в соседней деревне мужики чуть не утопили в пруду полоумную бабку просто за то, что у старосты корова сдохла. И единственным, кто встал между ней и вилами, оказался старый занудный монах с книгой канонического права под мышкой. Вот я и решил: лучше уж я сам буду держать эту книжку, чем какой-нибудь жадный дурак вроде того суконщика.

Они помолчали. За тонкой перегородкой кто-то негромко затянул старую, монотонную песню, по крыше всё так же ровно шуршал ноябрьский дождь.

— А про того, третьего, ничего не слышал? — тихо спросил Влад. — Ну… с улицы Соломы. Антон, кажется.

— Слышал, — кивнул Максим. — Я потом по делам ездил в Париж, заглянул к одному бакалавру с факультета искусств — Жану. Тот сказал, что чужеземец в ноябре пропал бесследно: пришёл рано утром в пустой зал коллежа, оставил на скамье конспекты Аристотеля и исчез. Никто его больше не видел. Видимо, нашёл дорогу обратно.

Влад медленно кивнул и уставился в тёмный угол амбара.

— Я тоже однажды видел, — неожиданно признался он. — Лет восемь назад. Вышел утром за дровами к сараю — а там, за поленницей, воздух вдруг поплыл, как над костром. И прямо сквозь мороз — потянуло бензином, и где-то далеко машина проехала по мокрому асфальту. Я даже шаг туда сделал.

— И?

— А сзади из амбара наш старик-красильщик закашлялся так, что чуть лёгкие не выплюнул, — усмехнулся Влад. — Дрова-то сырые были, без меня никто печь толком растопить не мог. Постоял я, понюхал этот бензин… подумал: кому я там, в том веке, вообще нужен? Опять таскаться по папиной конторе, крутить мутные схемы и рассказывать дуракам про «атлантов»? Плюнул, взял охапку дров и пошёл обратно. Через минуту выглянул — а за сараем уже просто снег идёт.

Максим тихо выдохнул и опустил глаза на свои огрубевшие, в вечных чернильных пятнах пальцы.

— У меня в Реймсе, в библиотеке, точно так же однажды стена поплыла, — признался он. — Как раз перед тем, как разбирать дело трёх крестьян, которых бальи хотел вздёрнуть без суда. Если б я тогда шагнул — их бы к вечеру повесили. Так что я просто закрыл ставню.

Они снова помолчали, слушая, как шуршит по кровле ноябрьский дождь и где-то за перегородкой тихо покашливает старик-красильщик.

Снаружи донеслось негромкое покашливание Жака. Дверь приоткрылась, и нотарий осторожно заглянул внутрь, держа в руках свежепереписанный лист пергамента.

Максимин поднялся — колено снова хрустнуло, но он даже не поморщился. Подошёл к очагу, взял у Жака палочку красного воска, разогрел её над угольком, капнул тяжёлую алую каплю на шёлковый шнурок внизу грамоты и с силой вдавил в мягкий воск свою медную инквизиторскую печать.

— Вот, брат Владислав, — сказал он уже снова по-французски, чётко и громко, чтобы слышали все в амбаре. — С сего дня этот приют находится под защитой церковного трибунала и владыки епископа Шалонского Шарля де Пуатье. Если кто из городских старшин или баронских приказчиков снова сунется сюда с угрозами — покажешь ему эту печать и скажешь, что я велел передать ему мой поклон.



Влад взял тёплый пергамент обеими руками и коротко, с настоящим уважением склонил голову.

— Благодарю вас, святой отец.

Уже у самого порога, когда нотарий пошёл отвязывать мулов, Максим на секунду задержался под низким козырьком, где с черепицы на булыжник падали холодные капли. Они пожали друг другу руки — крепко, без лишних слов. Оба знали, что зимы здесь длинные, дороги разбитые, а здоровье уже не то, и вряд ли судьба ещё раз сведёт их вместе.

— Береги спину, Влад, — тихо сказал Максим по-русски. — И не спорь больше с суконщиками натощак.

— А ты колено своё в тепле держи, Максим, — хрипло ответил Влад, пряча грамоту за пазуху под серый подрясник. — Если Антон там, наверху, всё-таки дошёл до дома — глядишь, хоть кто-нибудь узнает, что тут не сказка.

Инквизитор коротко кивнул, запахнул чёрный дорожный плащ от косого снега, тяжело взобрался на своего серого мула и тронул его обратно к дороге на Реймс.

Влад постоял у порога, пока чёрный силуэт не растворился в сером ноябрьском тумане, потом повернулся, прикрыл за собой тяжёлую ду-

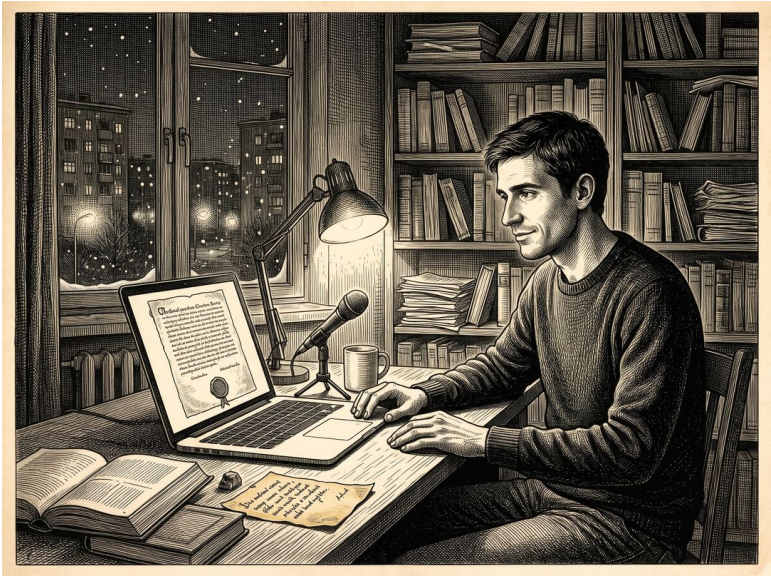
бовую дверь от ветра и пошёл обратно к очагу — помешивать репную похлёбку, потому что старик у дальней стены снова начал зябко подтягивать к подбородку старое одеяло.

* * *

На столе у очага остался лежать тёплый лист пергамента с вдавленной в алый воск медной печатью — и в ту же секунду огонёк очага чуть дрогнул, замер, обесцветился и превратился в зернистый, чуть выцветший архивный скан, медленно плывущий по тёмному экрану.

— …Так закончилось дело тысяча четыреста восьмого года о приюте за южными воротами, — спокойно, без нажима проговорил за кадром голос Антона. — Суконщикам отказали, богадельня получила охранную грамоту епископа, а двое людей, чьи имена едва уместились в короткую сноску провинциального реестра, больше никогда не встретились.

Кадр мягко сменился. В неярком свете настольной лампы, на фоне обычной книжной полки без неоновой подсветки и кричащего реквизита, сидел Антон в простом тёмном свитере.



— Разумеется, в сухом латинском протоколе нет ни слова про сырые дрова, про больное колено инквизитора и уж тем более про то, о чём они могли говорить за дощатой перегородкой, пока снаружи шёл снег, — чуть улыбнулся он в камеру. — Это всего лишь моя реконструкция, попытка угадать за сухими строчками живых людей. Суконщики искали крамолу и не нашли ничего, кроме горстки калек у очага и упрямого мирянина, который кипятил для перевязок полотно, гонял всех мыть руки щёлоком и смеялся в лицо богатым мещанам. А старый инквизитор приложил к бумаге печать, после которой за воротами больше никто не смел их тронуть.

Антон замолчал на секунду, глядя прямо в объектив, и тихо добавил:

— В тысяча четыреста девятнадцатом году на простой известняковой плите у того самого амбара выбили три слова: *Nemo solus stat*. «Никто не устоит в одиночку». Через два года в Реймсе умер инквизитор Максимин. Никто из них не попал в школьные учебники. Но если уж выбирать, чему в истории верить — громким речам или двум коротким строчкам из старого реестра, — я, пожалуй, выберу строчки. До встречи.

Экран мягко погас. В углу всплыли финальные титры под тихий звук дождя и название ролика: «Две сноски из 1408 года».

Через сутки ролик набрал тридцать восемь тысяч просмотров — скромно по прежним меркам канала, — но ветка комментариев под ним закипела почти как в старые добрые времена.

Антон прокрутил ленту вниз и усмехнулся.

«Совсем шиз, лол)) Сначала лекции по Аристотелю, потом убрал всю рекламу и сидит как нищий в старом свитере, а теперь буквально исекай-фанфик про доброго инквизитора и зэка-альтруиста. Антон, попей таблетки, пожалуйста.»

«Ну всё, официально продался попам. Инквизиция у него, видите ли, бедных от цехов защищала. Позор, отписка (уже третья, чисто захожу проверить, насколько глубоко пробито дно).»

«Раньше был нормальный научпоп с фактами и графиками, а теперь какой-то слезливый стендап про сырые дрова и упрямого мирянина. Откуда ты вообще взял, что у него колено болело и он пил яблочный взвар? Из пальца высосал ради драмы?»

«Чел буквально придумал сюжет для аниме про попаданцев и выдаёт это за исторический разбор. Помянем „Чайник Рассела“, хороший был канал.»

Чуть ниже, почти на самом дне, висела короткая переписка с семнадцатью лайками:

«Народ, может я сам уже поехал, но кто-нибудь помнит, что сам Антон прошлой осенью ровно на два месяца пропадал со всех радаров, а когда вернулся — снёс старые сценарии и резко переобулся? Может, он реально всё это время в Европе по старым архивам лазил и на историю этих двоих наткнулся?»

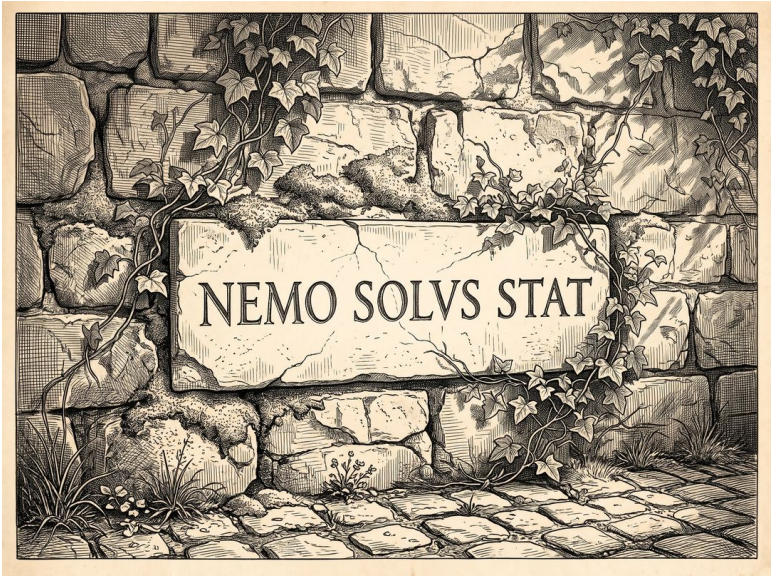
«Ага, ещё скажи, он сам с этим Владиславом в XIV веке в таверне сидел)) Обычная художественная реконструкция, он же сам в ролике честно предупредил. Расслабься.»

«Ну, отсылка или нет — а я полез проверять про этих терциариев и реальные дела инквизиции против ложных доносов. Офигел, насколько всё было сложнее школьной картинки. И на моменте про дрова реально ком в горле встал, сам не понял почему. Спасибо, Антон.»

Антон поставил лайк под последним комментарием.

Спустя месяц на почту канала пришло короткое письмо от подписчика из Франции: «Живу под Шалоном. После вашего выпуска доехал до старого квартала за бывшими южными воротами — ни амбара, ни часовни давно нет, а кусок ограды оставили. Подумал, вдруг пригодится для новых выпусков». К письму был приложен телефонный снимок: старая серая каменная кладка, и внизу в стену вделана выветренная известняковая плита с обколотым краем и латинскими буквами: *Nemo solus stat*.

Антон никогда не видел этой стены. Он просидел перед снимком пару минут, потом закрыл ноутбук.


NEMO SOLVS STAT

Послесловие

И если педант читатель спросил под конец: так что же с весом слова?
Вес слова равен весу замысла в выносившей его голове.

* * *